

Ирина Млодик

Девочка на шаре. Когда страдание становится образом жизни

Выражаю глубокую признательность:

семье моей сестры:

Марине, Грэггу, Арише, Саше, Элине, Дэвиду;

семье Морозовых из Новосибирска:

Валентине, Дмитрию, Полине и Александре

за тепло и гостеприимство, щедро питавшие меня во время работы над книгой

© Издательство «Генезис», 2014

От издательства

Это третья книга Ирины Млодик, написанная в необычной манере, – она включает в себя художественное произведение, дающее возможность читателю увидеть, понять и прочувствовать сущность психологического нарушения (в данном случае речь идет о мазохистических особенностях характера), и статью о механизмах формирования этого нарушения и возможностях психотерапевтической работы с ним.

С точки зрения психологии мазохист – это человек, чьи желания и потребности с детства попираются, в результате чего он перестает ощущать свою человеческую ценность. Ему трудно заниматься собственной жизнью, он ищет и находит тех, кому готов служить и подчиняться. Не замечать усталости, боли, жары для такого человека намного естественнее, чем проявить заботу о себе. Способность выносить страдания и лишения – его главная гордость, способ получить любовь, стать морально выше других.

Говорить об этой проблеме непросто хотя бы потому, что, как пишет автор, для российского и постсоветского обществ эти особенности очень характерны. Они вполне приемлемы, считаются почти нормой. Тем важнее прочитать эту книгу, иначе взглянуть на то, что, на первый взгляд, кажется таким привычным и обыденным. И попытаться разобраться, что же можно сделать для изменения ситуации, для того чтобы мы перестали жить, страдая, смогли увидеть свои потребности и желания и дали возможность начать жить собственной жизнью своим близким.

По оценкам МВД России, в 1994 году почти 14 тысяч женщин были убиты мужьями или сожителями. Для сравнения – за 10 лет Афганской войны Советский Союз потерял 17 тысяч человек.

Мать-одиночка растит свою дочь скрипачкой, Вежливой девочкой, гнесинской недоучкой. «Вот тебе новая кофточка, не испачкай». «Вот тебе новая сумочка с крепкой ручкой». Дочь-одиночка станет алкоголичкой, Вежливой тетечкой, выцветшей оболочкой, Согнутой черной спичкой, проблемы с почкой. Мать постареет, и все, чем ее ни пичкай, Станет оказывать только эффект побочный. Боженька нянчит, ни за кого не прочит, Дочек делить не хочет, а сам калечит. Если графа «отец», то поставлен прочерк, А безымянный палец – то без колечек. Оттого, что ты, Отче, любишь нас больше прочих, Почему-то еще ни разу не стало легче.

Не касаться земли. Балансировать. Взмах тонких рук, и ей снова удастся сохранить равновесие. Нельзя сойти с шара. Двигайся, перебирай ножками. Тебе нельзя упасть. Ты не можешь остановиться, расслабиться, ощутить опору. Опора есть у сильных. Она есть у него. Ему так удобно сидеть на большом кубе. Он вправе. Ему можно. Крепкие, широкие ступни и твердость земли. Он уверенно занимает место, повернувшись ко всему миру широкой мускулистой спиной.

Ему можно. Тебе – нет. Твой удел – перебирать ножками, держать равновесие. И улыбаться. Не забывай улыбаться. Никто не должен видеть твоей усталости и слез. Легче. Изыщнее. Ты должна радовать. Давай же. Нельзя сойти с шара. Терпение и усердие. А что, если?.. Нет. Не вздумай, иначе он поднимется со своего куба, и потом боль в исполованной плеткой спине и синяки на ногах будут мешать тебе держаться на шаре. Будет только хуже. Просто терпи. Перебирай ножками. Старайся, держи равновесие. Ты не должна его подвести. Тебе лучше его не злить...

Она любила эту картину. В молодости, глядя на нее, сначала, как и все вокруг, видела только акробатов на привале: хрупкую девочку и широкую мужскую спину. Романтичный Пикассо, через «голубое» прожив свои потери и расставшись с иллюзиями молодости, вдруг обращается к «розовому», разрешая себе окунуться в легкость и радость цирковых представлений, в романтизм, крепость уз, надежность актерского братства.

Прошло всего каких-то пара лет... Нет. Голубой на самом деле никуда не ушел. Теперь она это ясно видит. Откуда они взяли эту плуемость – «розовый период»? Голубой его одиночества и скорби еще здесь, в этой девочке, мучительно ищущей ускользающее из-под ее ног равновесие, и в явном, грубо заявляющем о себе синем с мужской стороны картины. Неужели не видно? И куда только смотрят искусствоведы...

Когда она была немного моложе, та самая акробатка напоминала ей Суок – девочку из фильма «Три толстяка». Она-то, конечно, может позволить себе безмятежность, детскую грацию и даже рискованные подвиги, ведь рядом с ней смелый Тибул. Сильный и преданный мужчина рядом – такая прекрасная возможность быть хрупкой и верить, что он все сделает для ее спасения. Тибул из фильма очень нравился ей: стройный, подвижный, с теплым взглядом и нежностью в голосе. Он ничем не напоминал ей собственного отца, который как раз вескостью, мощью и значительностью весьма походил на мужчину-акробата в синем.

Картина в который раз поймала ее и оставила при себе. Живи как хочешь, свободна. Она снова исчезла, осталась только девочка с розой в темных волосах, бесконечно ищущая свое равновесие. И не поднимать глаз. Не сойти на землю.

Она шла из Пушкинского с ощущением странного освобождения. С легкостью, с решением внутри. И почему она сомневалась? Конечно, нужно сказать «да», он же так ее любит...

Мы не виделись со студенческих времен. Возможно, моя жизнь так бы и не пересеклась еще раз с ее судьбой, если б не Ленка, обладающая редким даром – соединять все и всех в чудовищную круговерть.

Если бы перед знакомством с Ленкой хоть кто-нибудь предупредил меня о том, что один раз попав в ее планетарную систему, с нее уже не выбраться, так велика Ленкина гравитация, то я бы еще подумала, подходить или нет к этой миловидной, маленькой, чуть полноватой и всегда чем-то увлеченной блондинке. Даже телефон, кажется, звонит задорнее и напористее, когда на том конце провода ее воодушевленный голос. Да уж, Ленку ни с кем не спутать.

– Ты что, не знаешь? Она же в больницу попала, а у самой дома остался ребенок-инвалид. Ты что, не знаешь, что у нее ребенок-инвалид? Ну ты на какой планете живешь? А еще, блин, интеллигентия! Арина, как можно?! – В то время пока Ленка бодро вещает, я вспоминаю Ингу и пытаюсь вписать все, что слышу, в какие-то картины, которые сменяют одна другую прежде, чем я успеваю их дорисовать.

Светло-русая девушка, из всех предметов непонятно почему любившая так не любимую всеми остальными

социологию и социальную психологию, в то время как все были «намагничены» зарубежной журналистикой и пиаром. Тихая, милая, всегда погруженная в себя. Неглупая, как уже тогда было очевидно. Говорила она редко, но слушать начинали все. Мало слов. Коротко. Всегда основное. Как будто долго думала, вылепливала слова и выдавала уже суть, не рисуясь, не умничая, просто дарила нам слова, которые хотелось сразу же положить в какое-то потайное место и потом прослушивать раз за разом, пытаясь понять что-то важное, заключенное в них, но еще не долетевшее до всех закоулков души.

Симпатичная или милая, даже не знаю, как точнее. Никакой яркости ни в чем. Пастель. Приглушенный звук. Странная боль в глазах, не острая, не жгучая, боль человека, привыкшего к своему страданию. Инга. Да, наверное, рядом с ней можно представить ребенка-инвалида, как это ни грустно, можно. Почему-то очень верится.

Мои психологические зарисовки прерывает осознание того, что восклицательные знаки в трубке сменились вопросительными, а значит, от меня ждут ответа.

– Ну что ты думаешь по этому поводу? Кого? Кто бы мог? Как думаешь? – Я догадываюсь, что уже с десяток вопросов я, похоже, пропустила. Ленкина способность за пару минут сообщать огромное количество информации явно опережала мои способности эту информацию улавливать. Интересно, это потому, что я неуклонно старею, еще не сработала первая чашка кофе, или мы с Ленкой, от которой я уже успела отвыкнуть, но еще не успела отдохнуть, такие разные? Быстро прикинув, что приятнее всего думать последнее, решила не терзаться и, рискуя превратить наш разговор в бесконечно долгий, переспросила:

– Кто бы мог что, Лен?

– Как что? Ты что, не слушаешь меня, что ли? Ну помочь, посидеть с ее Степкой. Некому ведь. У меня ж ты знаешь – мама. Я сама не могу, днем особенно, только вечерами забежать. Я уж и Варьке звонила, и Светке. Все отказываются, у всех дела. Понимаешь? У них дела! А ребенок? Вот ему как? Он же колясочник. У тебя ж, мне сказали, отпуск, и ты как раз никуда не едешь. И надо-то всего недельку-другую, а потом, глядишь, и Ингу выпишут. Ну днем только, вечером я прибегать буду и еще сейчас других обзвоню.

– То есть ты меня просишь? – Я как-то не отдавала себе отчет в том, что сей пламенный спич будет касаться лично меня. Говорила же я себе еще в прошлый раз: не хочешь проблем на свою голову, не бери трубку! Говорила же, что вместо «Ленка» в мобильнике надо написать «Аришенька, умоляю, не отвечай на звонок!!!».

– Ну конечно, тебя! Я вообще с кем разговариваю? У тебя же отпуск, мне Варька сказала. И надо-то неделю. Тебе что, недели для ребенка жалко? Тебе же все равно делать нечего. Как ты собираешься проводить отпуск в ноябре? По Москве гулять в такую холодрыгу, что ли?

– Нет, гулять не собираюсь. – Я начинаю говорить медленнее в надежде хоть что-то успеть обдумать, но чем длиннее паузы между словами, тем больше нарастает скорость Ленкиной речи.

– Короче, записывай телефон Инги и адрес. Есть чем писать? Ладно, я сейчас пришлю тебе смс-кой. И еще Степкин телефон пришлю. Я вчера у него была, покормила, у него все есть, но сегодня к обеду, давай, очень нужно, чтобы ты пришла, а то голодным парень окажется. Все, у меня параллельный звонок. Не могу больше болтать с тобой, пока.

Теперь на меня практически без предупреждения накинудись гудки. «И вот что мне теперь с этим всем делать?» – гневно вопрошала я неизвестно кого. «Какого черта ты взяла трубку? Тебе что, плохо жилось с утра? Ведь сегодня первый день твоего долгожданного отпуска! Всего только полчаса до полудня! Еще кофе даже не успел просочиться в жилы, а ты уже заимела себе геморрой! У тебя же были планы, ты помнишь? Бассейн, фитнес-клуб, любимые книжки, блог, статья, которую ты все рвешься написать. Как же твои планы?»

«Я ж не сообразила, что это Ленка. Она же так быстро. Говорит как пулемет... Я же ничего не обещала. Я же не сказала “да”. Она сейчас позвонит кому-нибудь другому, и все уладится. Да и вообще, можно просто не ходить и все. Да, не ходить. И заняться своими делами». В ответ на этот душераздирающий, но такой утомительный, непрекращающийся внутренний диалог проурчал телефон, возвещая о полученной смс-ке.

«Ты можешь ее не читать. У тебя отпуск, – увещевал меня мой Правозащитник, – ты пахала целый год как проклятая, у тебя почти не было выходных. Тебе можно заниматься только собой, даже если все дети мира будут голодать и просить о помощи».

«Да, конечно, – согласилась я сама с собой, – я только гляну, вдруг это не Ленкина смс-ка, а чья-то другая, важная, и все. Я просто проверю. Никуда ехать я не собираюсь».

«И еще купи ему апельсины. Горло слабое. Как бы не разболелся», – было написано в сообщении, далее шли телефоны и адрес.

Ну хорошо. Та-а-ак. Что я планировала на сегодня? Отдохнуть. Есть всякую хрень, смотреть всякую чушь. Сходить к вечеру в магазин и сварить-таки мужу борщ, в кои-то веки. Чтобы, когда он вернется домой, дома была еда, хотя бы отдаленно напоминающая ту, которой заботливые жены кормят своих голодных мужей. Да, таков был план.

Дожевав булочку с корицей и запив ее остатками уже остывшего кофе, я триумфально залегла на диван, и он прогнулся от важности возложенной на меня задачи – «отдохнуть». С воодушевлением и немного гордясь собственной решительностью, я взяла в руки книгу.

Еще вчера все происходящее в ней имело глубокий смысл и захватывало меня всей душой, тем более что вечернее московское метро – такое место, где очень хочется сдаться почти любому сюжету. Но сегодня буквы лишь бестолково толклись на странице, не желая обретать смысл. Я сама никак не могла перейти в режим отдыха, несмотря на томную бразильскую музыку, сладкоголосыми ритмами заливающую мою комнату.

Почти через час я обнаружила, что лежу на диване с напряженным от раздумий тельцем и представляю себе этого Степку: маленького, шестилетнего, голодного, с больным горлом, разочарованного этим миром, в котором так много равнодушных взрослых, жалеющих для него всего лишь пару часов своей драгоценной жизни.

Своих детей у меня никогда не было и уже не будет по обстоятельствам, о которых нет желания вспоминать. Я прятала от себя эту боль подальше, давно прикрыв ее любовью к детям моих подруг. Чужих детей любить приятно, особенно Валюшкиных детей – Лизу и Катюшку, а потом и Васютку. Это получалось само собой. На особенно заполонных подруг-мамаш я обычно смотрела с едва скрываемым налетом благодушного цинизма и сочувствия, присутствовать в их больших детских компаниях не рвалась. Дети – это шумно, непредсказуемо, утомительно.

В результате мучительных размышлений я все же решила набрать Ингин номер. Ну хотя бы просто узнаю, что с ней. В больнице человек лежит все-таки. Вдруг чего-то нужно. Каждый гудок, к моему собственному стыду, приносил мне все возрастающее облегчение: «Ну вот и славно. Она не берет трубку. Ей никто не нужен. Ты пыталась. Вот доказательство: твой пропущенный звонок в ее телефоне. Расслабься уже. Диагноз "неравнодушная" ты сама себе можешь поставить».

«Инвалид-колясочник» – слово каталось у меня на языке, как карамелька. Ни прожевать, ни проглотить. Хочется отвернуться от того, кто это говорит, сказать: «Не надо этого произносить, зачем это вы?» Само слово какое-то неприятное, о нем совершенно не хочется думать и уж тем более примерять к себе. Может, поменяем его на какое-нибудь другое?! «Ребенок-инвалид» – совершенно невозможное сочетание. Я уже не говорю про словосочетание «мой ребенок-инвалид». Чур меня! Не подходите, вдруг это заразно?..

Еще одна чашка кофе. Еще одна попытка понять, что же происходит на той странице, которую я читаю уже по четвертому разу. Еще один взгляд на телефон. В воображении уже прокрутился почти голливудский фильм с моим участием в главной роли: спасение бедного малыша.

Сначала, как водится, нам трудно найти общий язык, но мы проходим через все сложности и преграды и накрепко привязываемся друг другу. И в этот самый момент возвращается Инга – его мать. Ее слезы безмерной благодарности смешиваются с нашими слезами от необходимости расставаться. Но я обещаю приходить почаще, ведь теперь мы связаны общей историей. Я уйду с ощущением нашей духовной близости, растроганная нашим прощанием, и понимаю, что именно так стоило провести мой отпуск, наделив его высоким смыслом и облагородив прекрасным поступком. Будет что вспомнить и рассказать внукам, которых у меня скорее всего никогда не будет, в качестве доброй истории, иллюстрирующей важность хороших поступков и дел.

Фу, самой от себя уже тошно. «Ничего нормально сделать не можешь! Взятась читать – так читай. Взятась помогать – уж лучше звони, чем впустую предаваться идиотским фантазиям. Сделай хоть что-нибудь. Не будь "между", это же совершенно невыносимо!» Ладно. Набираю (что, в шесть лет у него уже есть мобильный телефон?). Эффект тот же. Долгие гудки. И когда я уже со смесью облегчения и досады собираюсь нажимать на «отбой», звучит торопливое «да».

– Это Степан? Здравствуй, меня зовут Арина. Я когда-то училась с твоей мамой в институте. Теперь она в больнице, мне позвонила Лена. И сказала, что к тебе нужно прийти, что тебе нужна помощь. Я в принципе могу.

– Спасибо, Арина. Но мне не нужна помощь. Ваша Лена зря беспокоится. Так ей и скажите. Я справляюсь. Спасибо за звонок.

– Подожди... – Я совершенно растерялась, такой взрослый голос, такая правильная речь, такое теплое

дружелюбие, такое несоответствие моему сценарию. – Степа, подожди! Можно я задам тебе несколько вопросов, если ты не торопишься?

– Да, задавайте, только минутку, я выключу чайник.

– Скажи, пожалуйста, тебе сколько лет?

– Тринадцать уже.

– Тринадцать? Я почему-то думала – шесть. А мама? Что с ней? Почему она в больнице?

На том конце повисло молчание, и мне стало неловко за вопрос.

– Для чего вам?

– Ну просто, я переживаю. Инга в больнице. Это серьезно? Может, что-нибудь нужно...

– Ничего не нужно. Вам не о чем беспокоиться. Мы справимся сами.

– А кто это вы? С тобой кто-то есть?

– Нет, я один. Мы с мамой справимся. Вам совершенно не обязательно приходить.

– А как же апельсины? – Я как-то совсем растерялась, то ли у меня забирают шанс проявить благородство, то ли что-то не то я чувствую в этой готовности «самим справиться».

– Какие апельсины?

– Лена сказала, что у тебя больное горло и тебе нужны апельсины, чтобы ты не разболелся.

– У меня ничего не болит. И у нас что-то есть из фруктов, – он пошебуршал пакетами, – груши есть, вот что, и бананы тоже.

– Ну хорошо, Степан. Еще один вопрос. А из взрослых к тебе кто-нибудь приходит? Ну бабушка там, тетя какая-нибудь, соседка, на худой конец...

– Я уже сам взрослый. А бабушка наша умерла в прошлом году. Мы даже на похороны не смогли поехать. Лететь далеко, да и дорого... – Детская печаль и растерянность промелькнули в голосе. Все-таки он – ребенок. Куда уж там – «сам взрослый».

– Мне очень жаль, Степа... Судя по всему, ты очень скучаешь по ней. Тебе ее очень недостает.

– ...Да. Как-то внезапно она умерла. Мама как будто до сих пор поверить не может. Да и я не могу. Мы ее ждали летом и вот не дождалась. – Трогательный детский вздох, и я уже не знаю, что говорить, вопросы внезапно закончились, и захотелось просто обнять эти, наверное, хрупкие детские плечи.

– Слушай, Степ, а может, я все-таки зайду? Ну так, поболтаем, а? – то ли сказала как-то не так, то ли жалость в голосе прорвалась, не знаю.

Но вдруг резко и холодно:

– Спасибо. Не стоит. Всего вам доброго.

Гудки. И тишина.

«Не стоит»... Я сначала даже не поняла, чем я так ошарашена. То ли мне помешали проявить доброту, и это так неприятно. Раз уж так трудно решалась, то как будто хочется уже, что ли. То ли этот внезапный холод. Я его обидела? Своей жалостью, быть может? Или я была слишком навязчивой? Эта прорывающаяся детскость и такое твердое «мы справимся», повторяемое как мантра... Эх, Степа, мальчик-колясочник, что же у тебя там творится?

Теперь я уже точно не найду себе места. Еще раз пробую набрать Ингу. Тот же результат.

День как-то сразу перестал быть интересным. Даже лежание на диване почему-то уже не казалось таким привлекательным занятием, как раньше. Выглянув в окно, я обнаружила там, что ноябрь, переваливший за первую неделю, наполнил город всеми возможными оттенками серого.

Еще почти час прошел в безнадежных попытках обрести смысл в моей отпускной жизни, прежде чем я вспомнила про цель дня – сварить мужу борщ. Воодушевленная вновь найденным смыслом, я вышла на улицу за ингредиентами.

Обычно супермаркет для меня – место для слива раздражения, накопившегося за день, так мне досаждают необходимость ходить между полок и мучительно думать, что же нужно купить. А иногда волшебным образом он превращается в место для медитации, где после напряженного рабочего дня, одуревшая от размышлений, расписаний и необходимостей состыковывать все со всем, я погружаюсь в разглядывание бутылочек и баночек, подолгу зависая возле какой-нибудь цветастой коробки с причудливыми хлопьями, совершенно не отдавая себе отчет, что же именно я так долго наблюдаю.

Сегодня был день медитации. Я долго бродила по супермаркету, очнувшись только в тот момент, когда с трудом смогла поднять два набитых пакета. С большим изумлением, разбирая дома сумки, я обнаружила там пакет с апельсинами.

«Странно, мы не едим апельсины. У мужа на них аллергия, а я просто не люблю. Если болею, всегда прошу купить мне киви. Зачем апельсины-то?». – «Ты же знаешь – для Степки, у него ведь горло...» – «Боженьки мои, ну при чем тут этот мальчик? Он же сказал: не приходите, мы сами справимся. Что навязываться-то людям? Заняться, что ли, нечем?»

«Ну да, справятся они, как же! Мало ли, почему он так отвечает, может, он гордый. Вспомни Ингу, она ведь тоже никогда не просила о помощи. Что-то было в ней всегда затаенное. Но никто из нас же понятия не имел, чем она живет. Общежитские все про всех знали, москвичи и так обычно трескались от благополучия. А Инга? Ни то и ни другое. Жила у какой-то тетки, то ли дальней родственницы, то ли материнной подруги. Что ты знала о ней? Только то, что в общих сабантуях она участвовала редко. Всегда где-то подрабатывала. Что вышла замуж на четвертом курсе, но на свадьбу никого из студенческих не позвала, даже вездесущую Ленку. Что писала она, кстати, здорово. Не модно так, не с вызовом молодого постмодерниста, пытающегося выразить собственную самобытность, всегда в поисках новых форм, в чем заходила тогда вся наша молодежь, а тихо и строго, через оттенки передавая сущностное, главное. Завораживала плавным ритмом ее текстов, где каждое слово имело смысл и вес. Не то что мои «перлы» – всегда страдающие избыточностью сравнений, союзов и метафор».

Воспоминания прервал звонок мобильного.

– Привет, Арина, это Инга. Ты звонила мне. Я не могла подойти к телефону. Что-то случилось? Нужно помочь?

– Мне? Ну что ты, нет. Привет. Да, это я. Я думала, может, тебе нужна помощь. Звонила Ленка, сказала...

– А, Ленка... Ума не приложу, как она узнала. Зачем столько активности? Я ее ни о чем не просила. Ты извини, я не хотела тебя беспокоить. Она сама. Ты же ее знаешь: если ей что-то приходит в голову, ее не унять.

– Инга, подожди. Бог с ней, с Ленкой. Не за что тебе извиняться. Лучше скажи, что с тобой? Ты правда в больнице? Тебе что-нибудь нужно? Как ты себя чувствуешь?

– Да. Я в больнице. Множественные травмы. Скоро поправлюсь, не беспокойся.

– Ты попала в аварию?

– Нет, не совсем. Мной здесь занимаются хорошие врачи. Сказали, дней десять, максимум недели две, и я буду в порядке.

Неприятное ощущение, что я вторгаюсь в чужую жизнь, куда меня, очевидно, не хотят пускать, конкурировало с тревогой и смутным намерением немедленно что-то предпринять. Затянувшаяся пауза стала меня смущать.

– Хорошо, Инга. Если вдруг что-то будет нужно, для тебя или для Степки, ты звони. Я приеду, у меня все равно отпуск и туча совершенно свободного времени.

Через пять минут после разговора пришлось констатировать, что покой уже окончательно покинул мой восприимчивый организм. Я не находила себе места. Ни отдохнуть, ни готовить борщ в таком состоянии было невозможно.

Адрес есть, апельсины есть, времени навалом. Осталось лишь погулить маршрут и отдаться ноябрю, медленно, но верно ползущему к сумеркам.

Пятиэтажный дом по Ставропольской найти было нетрудно, хотя в Люблино я никогда раньше не заезжала. С

трудом удержавшись, чтобы не зайти в супермаркеты, как назло регулярно призывно попадающиеся мне по дороге, и не закупить шоколадок («Зачем ему твои шоколадки, может, ему их вообще нельзя, может, он их терпеть не может, и вообще он тебя не просил приезжать и имеет полное право дать тебе от ворот поворот»), я подошла к нужному подъезду и нажала кнопку домофона.

Вызов отзвенел долгой трелью и затих. Я озадаченно смотрела на домофон минуты две, не понимая, что происходит. «Куда он мог деться, он же колясочник? Не тот адрес? Но Ленка же была здесь еще вчера. Он видел меня в окно и специально не отвечает? С ним самим уже что-то случилось, и мне нужно звонить в МЧС?» От растерянности я еще раз нажала кнопку. В какой-то момент трель захлебнулась и ответила мне раздраженно-вопросительным «да».

– Степа, это Арина. Я звонила тебе днем, я – мамина подруга, – испугавшись, что он немедленно отключится, я спешила доложиться, – и с мамой твоей я уже созванивалась сегодня, узнавала, как у нее дела.

Прожужжавший домофон был мне ответом, и я смогла открыть дверь. Поднимаясь на пятый этаж, мимо чужих запыленных ковриков, детских велосипедов, живущих теперь воспоминаниями о лете, мимо старой полки с такими же старыми книгами, стоящей прямо на полу возле подоконника, с надписью над ней «бесплатные книги для бесплатного обмена и чтения», искушающими меня обложками изданий шестидесятых годов, я волновалась больше, чем идя на важное собеседование или экзамен. И я зло завидовала Ленке, которая, судя по всему, не заморачивалась мучительными размышлениями о том, стоит ли идти туда, куда тебя не звали. Переживания по этому поводу грозились истощить меня не меньше, чем подъем на пятый этаж без лифта.

Дверь была открыта. И я, запыхавшись, ввалилась в сумрак прихожей, уже утомившись сомневаться, готовая к любому повороту событий.

В глубине длинного коридора мелькнул трудноразличимый силуэт в коляске. Показавшись ненадолго, мальчик бросил мне мимоходом:

– Проходите, тапочки там есть на полке, я готовлю, должен помешать, а то подгорит.

– Ты готовишь? Надо же, – сказала я, снимая пальто, с облегчением принимая тот факт, что не встретила сурового приема и у меня даже есть время и возможность осмотреться.

Доставая с обувной полки потертые фисташковые тапочки с бледно-лиловыми вышитыми розочками, я с каким-то неприязненным чувством вспомнила брошенный, уж когда и кому не помню, Ленкин хлесткий «диагноз»: «Бедненько, но чисто». Захотелось выплюнуть эту точную, но какую-то унижительную формулировку. Не получалось, застряло вместе со стыдом от того, что она пришла мне в голову.

Захватив шуршащий пакет с апельсинами, я прошла на кухню. Запах интриговал еще из прихожей, а здесь развернулся в аромат, от которого мой живот немедленно вспомнил, что, кроме утреннего кофе с булочкой, в нем за весь день ничего съедобного не лежало. Это сбilo меня с толку, и я не сразу поняла, в чем странность. Щуплый мальчишка что-то сосредоточенно мешал в большом казане, сидя на офисном стуле, сиденье которого было поднято на максимальную высоту. Коляска стояла в углу, загромождая и без того небольшую кухню. А Степа, ловко хватаясь за все, что попадется под руку, стремительно перемещался на стуле, оснащенном роликами.

– Я плов готовлю. Будете? Уже скоро, минут двадцать всего осталось. – Он повернулся ко мне, и я смогла наконец рассмотреть его лицо. Из-под темно-синей банданы кое-где выбивались русые волосы. Серые Ингины глаза смотрели на меня дружелюбно и не по-Ингиному живо. В них не было той затаенной боли, лишь печаль, дымчатая, еле уловимая. В его облике, таком еще детском, проступали сосредоточенность и взрослость, не соответствующие его реальному возрасту, и как будто бы затаенное напряжение, готовность к испытаниям. Хотелось смотреть ему в глаза, и не только потому, что страшно было опустить взгляд ниже, на его ноги. – Ну так что, будете?

– Буду, спасибо, – очнулась я от разглядывания и сравнения его реального образа с моими фантазиями о том, как он должен выглядеть, – я ужасно голодная на самом деле. А пахнет у тебя так, что даже если уже съел целиком запеченного слона, и тогда ни за что не откажешься.

Он снова лихо развернулся к тумбочке.

– Тогда я ставлю чай. До плова мы можем выпить, какого захотите, а то потом будем пить только черный с чабрецом. Вы пьете с чабрецом?

– Ну конечно, я все пью. Тебе чем-нибудь помочь?

– Нет. На кухне я – хозяин. Вы мне поможете, если сядете вон туда, к стене, а то и так тесно, проезжать не везде получается, если вы там стоите.

– Я принесла тебе апельсины.

– Спасибо. Я, правда, их не ем.

– Аллергия?

– Нет, просто скучный вкус. Но я могу сделать фруктовый салат, в салате апельсины можно с чем-нибудь смешать.

– Ты, видимо, любишь готовить?

– Да, люблю.

– А есть, судя по твоей комплекции, не очень.

– Да нет, есть тоже люблю, просто я такой. Кстати, вы могли бы мне действительно помочь кое в чем?

– Конечно, говори, буду рада.

– Вы не могли бы попросить вашу Лену не приносить мне ее еду? Да и вообще. Зачем все это? Вы же видите, я отлично справляюсь. А так она приезжает, привозит свои голубцы и еще заставляет меня их съесть. Потому что ей кажется, что я без них умру с голоду. Хотя у меня еды столько, что хватит неделю целый отряд голодных пионеров перекармливать. И вообще ей слишком много чего кажется, а объяснить ей хоть что-то я не могу. Точнее, я могу, но она все равно меня совершенно не слушает. Она и маму не слушает. Да и, наверное, вообще никого. Что-то придумала и со своими придумками имеет дело. Я не против, пусть. Но только голубцы ее, если честно, – редкостная дрянь. Готовить она, видимо, не умеет или не любит. Бывает такое, ну не получается. Вот только почему я должен это есть? Но ведь совершенно невозможно восстановить в этой квартире тишину, пока она не уйдет. А она не уходит, пока я не съем столько, сколько она посчитает нужным.

– Да-а-а, Степа. Ну ты задал мне задачу. Убедить Лену в том, что ее участие в твоей судьбе излишне, да еще и в том, что ты без ее голубцов обойдешься, будет непросто. И уж прямо тебе скажу: успех этого мероприятия маловероятен. Но я постараюсь приложить все свои усилия. Тут просто «в лоб» не получится, это надо будет что-то придумать, куда-то перенаправить напор ее милосердия.

Он вдруг принохивается и...

– Щас!

Резким, но отточенным рывком переместился на своем стуле от стола к плите, приподнял крышку казана и резко выключил газ.

– Чуть не подгорело, заговорился с вами, – немного расстроенный, он засуетился, – нижний слой, наверное, все-таки даст немного не того запаха, уж извините.

– Да что ты, брось. Это ж плов – народная пища, она должна быть с разными запахами. По мне, так пахнет просто восхитительно. И как ты какой-то другой запах учуял?

– Сейчас еще немного настоится, минут пять, и будем пробовать. Да, вы это хорошо сказали «напор милосердия», что-то немилосердное в нем чудится, если никто не спрашивает, чего же на самом деле мне нужно, и заставляют меня делать что-то якобы для моего блага. Как думаете?

– Не то слово, Степ. Что у тебя с ногами? – все же решаюсь спросить. Делание вида «я не пытаюсь рассмотреть твои ноги» стало уже отвлекать меня от разговора.

– Мышечная атрофия, – говорит он буднично и по-деловому.

– Это давно? – спрашиваю я вместо вопроса («Это навсегда?»), который хочется задать, но не решаюсь.

– Лет с семи, по-моему. Сначала я чем-то тяжело болел, потом постепенно ноги стали болеть и худеть. Ходить я перестал в десять.

– Это лечится? – все же решаюсь я задать этот страшный вопрос.

– Не очень-то. Вроде бы остановили немного, пока не прогрессирует. Хотя после того как бабушка умерла, ноги опять страшно болели, мы с мамой боялись, что все началось снова. Но мы с Каменецким вроде бы справились.

– Каменецкий – это твой врач?

– Да, если бы не он, я бы с вами уже не разговаривал. Он не то чтобы из петли меня вынул, но что-то вроде того.

– Ты что, в десять лет покончить с собой хотел, что ли? – У меня все холодеет внутри.

– Нет, не в десять, после бабушкиной смерти. Но вы маме не говорите, она не знает. И вообще пора плов есть. Вы же были такая голодная, – смотрит на меня и хитро улыбается.

А на меня столбняк напал, я понимаю, что знаю этого мальчишку всего-то полчаса, но представить не могу, что этого парня уже могло не быть на земле, да и вообще что я могла его не знать.

– Да, хорошо, давай плов. Тебе помочь? – Я встаю почти автоматически, вроде как я же – взрослая женщина на кухне.

– Сядьте, – командует он, – главное правило на моей кухне: не попадаться мне под колеса.

– Прости, забыла, – усаживаюсь я снова, и только тут на меня наваливается такая усталость, что, пока он хлопочет, раскладывает плов по тарелкам, разливает «правильный» чай с чабрецом, у меня просто сами собой смыкаются веки. Так вдруг захотелось спать. Столько впечатлений для одного дня, который я собиралась провести, утонув в запланированном сибаритстве.

– Устали? – спрашивает, устраиваясь возле стола, стягивая бандану и всматриваясь в меня своими серо-зелеными глазами из-под длинной челки. Так он выглядит совсем ребенком, и у меня начинает щипать где-то в носу. Я увлеченно жую плов. Не плакать же при нем.

– Не знаю даже. Наверное, согрелась и расслабилась. А может, впечатлений слишком много. Ведь сегодня с утра я даже не подозревала о твоем существовании. Мы ведь с твоей мамой после института и не виделись. К тому же ты не очень-то рад был моему утреннему звонку. Я, честно говоря, не была уверена,пустишь ли ты меня. В первый раз на домофонный звонок никто не ответил.

– К нам же просто так не ходят. У мамы ключи есть. А в домофон любят звонить всякие рекламщики, к почтовым ящикам попасть хотят. А мне, чтобы до трубки доехать, надо в коляску пересесть, на стуле неудобно. Поэтому я не всегда успеваю. Хорошо, что вы перенабрали второй раз.

– То есть ты мне рад?

– Ну конечно. Вы же в гости. Кормить меня насильно не собираетесь, навязывать свое милосердие, как я понимаю, тоже. Скорее уж я вас могу угостить. А гостям я всегда рад. Как вам плов?

– Божественный...

– Да бросьте, я ж серьезно.

– И я вполне. Ты уж прости, я что, устарело выражаюсь? Нет, правда, очень вкусно. Это я более чем честно, потому что сама я готовить почти не умею, что, впрочем, в этом контексте оказалось более чем удачно. Потому что притащись я к тебе с борщом, который собиралась сготовить своему мужу, то, возможно, тогда у меня не было бы шанса подружиться с тобой. Его бы постигла участь Ленкиных голубцов, и мы вместе с борщом стали бы объектом твоей подростковой ненависти. Так что суперкулинар среди нас двоих точно ты. А я всего лишь горячий и преданный поклонник твоего таланта.

– Смешная вы, – курлыкнул он, проглотив смешок вместе с ложкой плова.

– Степ, я, пожалуй, пойду спасибо тебе за плов и чай, и вообще за то, что пустил. – Я стала вставать из-за стола, опять же автоматически взяв свою тарелку и кружку с намерением отнести все это в раковину, но запнулась под его строгим взглядом и смиренно поставила все на место. – Я поговорю сегодня с Леной, попробую как-то сдержать или перенаправить ее порыв. Если можно, я приду к тебе завтра. Пустить меня? Откуда ты, кстати, берешь продукты? Может, что-то купить по дороге?

– Я буду вам рад, приходите, конечно. Если вам удастся отговорить Лену, вы меня просто спасете. Продуктов не надо. Есть интернет-магазины, все налажено.

Разгребая пожухлые листья, хрустя первым ледком, я тащилась к метро оглушенная и успокоенная одновременно. Завтра... Агрофия... Могло не быть... Каменецкий... Ленка. Ленка!!! Уже подхожу к метро, начинаю судорожно набирать номер. Как же я стратегически лоханулась! Надо было сразу позвонить тогда, пока иду до метро, можно было бы поговорить, а теперь стой на холоде, в метро не зайти. Да и вообще она могла уже к Степке выехать, она же сказала: «Вечерами только могу». У меня аж руки затряслись от подозрения, что единственное, о чем меня попросил мальчик-колясочник, может оказаться невыполнимой миссией.

– Так, слушай, я позвонила Варьке, она согласилась зайти к нему завтра – горло посмотреть хотя бы, – Ленка, как всегда, с места в карьер, – и потому завтра с тебя только продукты, а сегодня я...

– Нет! – Я понимаю, что кричу, как будто от моего крика зависит чья-то жизнь. – Не надо ничего сегодня. Я была у него только что, у него все в порядке. Продуктов у него полно, он заказывает их по интернету, горло у него не болит. Еды у него тоже навалом, он еще и меня накормил.

– Ты чего кричишь? Я уже сырников напекла, куда я их теперь дену? Мои столько не съедят, а ему полезно, это же творог, а творог – это кальций. А кальций – это для костей, понимаешь?

– Ленка, я прошу тебя, не надо сегодня. Ты знаешь, он сказал, что спать очень хочет, поэтому спать скоро ложится. А так ты придешь, его разбудишь, никакие сырники тогда в него не ползут.

– Во-о-о-т! Я же говорила! А ты говоришь, горло не болит! Спать в такую рань! Только больные дети готовы так рано спать ложиться. Эх, Арина. Не понимаешь ты в детях, может, потому, что у тебя своих нет...

Вот стерва! Умеет в больные места. Вздохнуть три раза, до пяти досчитать, а то всю правду про ее голубцы сейчас и выложу. Решила идти ва-банк. Врать, так упоенно:

– Ленка, я проверила его горло, даже температуру померили. Все в полной норме. К тому же у него свой врач есть, который его ведет – Каменецкий. Он к нему как раз зайдет завтра. А я тоже завтра там буду, так что все проконтролирую. А сегодня дай ему выспаться нормально, Лен. Он и вправду устал, наверное, все ж за маму переживает.

– Ну еще бы, как не переживать-то, вся переломанная там лежит.

– А ты знаешь, что с ней случилось? Отчего она вся переломанная? А то она говорить не хочет.

– Ну как не знать, знаю. Бывший приезжал. Она его долго впускать не хотела, тот ей, наверное, чем-то пригрозил или уговорил ее, кто ж его знает. Она его впустила, ну к ночи-то он от нее живого места и не оставил. Теперь он снова в бегах, а она в больнице.

– Какой кошмар! Это что же? Они при ребенке, что ли? А ему-то каково? Как же? А Степку-то он хотя бы не бил? Да и ее – за что же? – У меня от ужаса даже ноги ослабели, присесть захотелось, только присесть-то и негде, прислонилась к стене, руки уже окоченели, телефон бы не выронить.

– Нет, Степку вроде бы нет. Он «скорую» и милицию вызвал, только, пока они ехали, ей уже крепко досталось. За что? Да ни за что. Он же сидел раньше, после тюрьмы-то всякими возвращаются. По-моему, он хотел, чтобы она его прописала, что ли, или денег дала. Не знаю точно.

– А он что, Степкин отец?

– Ну да, она ж за него на четвертом курсе замуж вышла, помнишь?

– Что-то помню, но она ж нас с ним не знакомила. И на свадьбе никто из наших, по-моему, не был... Ладно, Лен. Замерзла уже вконец, я в метро захожу. Пожалуйста, пообещай мне, что ты не поедешь сегодня к Степке, а завтра я там буду и потом тебе дам полный отчет. И Варьку попроси, пожалуйста, тоже не беспокоиться. Она же врач, ей своих больных хватает за глаза.

– Вот же черт!!! Игореха, ну-ка зови сюда своего брата, пусть полюбуется, что его проклятый пес сделал с моей сумкой! Уйди, ирод проклятый! Ну что за пес противный?! Иди-иди сюда! Посмотри! Кто будет следить за своим псом? Мы как договаривались?! Ладно, Арина, пока!

Гудки оборвали драму, развернувшуюся в Ленкином семействе. Слабая надежда – моя просьба принята во внимание – перемежалась с тревогой о том, что Ленка не очень любит слышать то, что ей говорят.

Метро везло уставшую женщину, вместившую в себя чужую историю, вобравшую в себя чужую боль, от которой

теперь так просто не отмахнуться, не освободиться. Да и чужую ли? Где эта грань: свое-чужое? Инга когда-то точно не была чужой. Незнакомой, скорее, но не чужой. А Степка? Его теперь как назвать? Кто он ей теперь? Не сын, не родственник, непонятно кто. И еще большой вопрос, кто к кому сегодня проявил милосердие.

– Понимаешь, Степ, это ведь не так просто: не проявлять желания как-то помочь и что-то сделать за человека, когда ты видишь, что он на костылях или в инвалидной коляске. – Наш разговор плавно перетекает от гостевой чашки кофе к обеду, и потому Степка бросает мне ответные реплики, сосредоточенно и спокойно вращаясь между столом, плитой, холодильником и шкафчиками.

– Да, и согласитесь, Арина, что в этот момент эти люди больше думают о себе, чем о том человеке, которому они рвутся помочь. И все потому, что им кажется, что мы настолько беспомощны.

– Слушай, Степ. Ну как в твоём возрасте можно быть таким взрослым и умным? Откуда это все?

Он вдруг останавливается, смотрит на меня изумленно и грустно:

– Да ниоткуда, просто жизнь. И наверное, ещё книги. Я, как вы понимаете, могу позволить себе много читать. В школу же не хожу, на домашнем обучении. А читаю я быстро. Да и в Интернете сейчас можно найти при желании все, что захочешь.

– Да, читаешь. Это заметно. А друзья у тебя есть? – спрашиваю, а самой зажмуриться хочется. Кто ж его знает, может быть, мои прямые вопросы могут причинить ему боль, как мне Ленкины комментарии.

– Конечно, есть! – Он улыбается так широко и так... светло, что ли, эх, словаря не хватает, чтобы описать некоторые выражения его лица. – У меня одноклассники есть, я ж на домашнем обучении только с десяти лет. Мы по соцсетям много общаемся, я в курсе всех классных дел. С ребятами по реабилитационному центру мы видимся. Да и гости у нас часто бывают. Хотя мне и одному хорошо. Я – тихий. Люблю тишину или хорошую музыку. У меня колонки – что надо. С музыкой можно пережить все что угодно. Появляется ощущение разделенности, словами ведь часто не объяснишь.

– О да, это я понимаю. Я, например, без музыки – ни заснуть, ни проснуться не могу. Она меня хоть немного из себя самой вынимает, останавливает бесконечные размышления и диалоги с собой. А чем это так вкусно пахнет?

– Ши с белыми грибами. Вчерашние, правда, и белые грибы сушеные. Но настоящих неоткуда взять. А так было бы вообще круто. Ну что, наливаю?

– Ну конечно, спасибо. Странно как-то. Я вроде как тебя кормить должна. Я же взрослая. А кормишь меня ты, ребенок, второй день уже, – дую на ши, так не терпится зачерпнуть побольше.

– Разве взрослые – для того, чтобы кормить? – Лицо слегка суровеет, и мне почему-то неудобно, когда он такой. – Особенно если я сам могу приготовить и поесть. И почему их больше всего заботит именно это?

– Наверное, пережитки лихих годин, военного прошлого, когда накормить ребенка было равносильно тому, чтобы его спасти. А для чего, по-твоему, нужны взрослые?

– Не знаю, это кому как, наверное. Мне для того, чтобы были рядом. По крайней мере те из них, которые могут хоть как-то слышать и понимать, те, у которых хоть что-то живое осталось внутри, честное. Кто разговаривает с тобой не с намерением изречь что-то педагогичное и назидательное или покурахтаться: «Бедный ребенок, а матери-то его какво?», будто я теперь стопудовые гири на ее ногах. Вот эти, что начинают причитать, жалеть и навязывать свое милосердие, эти – только нагрузка. Их послать хочется далеко и надолго. Но мама всегда расстраивается, если я грублю. Она ничего не говорит, но у нее такое становится выражение лица, что я его перенести не могу. Как вы, кстати, справились с жаждой кулинарной благотворительности тети Лены?

– Эх, Степка. Если честно, пока не очень справилась. Могу констатировать только временную победу. Пока удалось только спасти тебя от нападения ее сырников вчерашним вечером. За это пришлось сочинять, что мы тебе и температуру мерили, и горло смотрели, и что вообще тебя сегодня твой Каменецкий навестит.

– Это было бы здорово, если б он пришел! – Лицо его снова осветилось, из чего я сделала вывод, что, судя по всему, его врач относится к типу «живых» взрослых. – Но не придет. У него столько работы. Весь наш реабилитационный центр только на нем и держится. Трудно представить, как бы многие из нас были без него. Так что пусть уж отдыхает, если у него получится. Только ведь не умеет.

– Слушай, а может, кому-то в вашем центре нужна помощь, чтобы им еду готовили, так мы бы Ленкину энергию

туда бы и направили? Как думаешь? – Я быстро осеклась под его красноречивым взглядом.

– Ну вы даете, у меня же там врагов нет, чтобы на них тетю Лену натравливать. Если я сам не могу ее голубцы есть, как же я буду так товарищей подставлять?

– Тоже верно. Что, совсем несъедобные получаются? Это ж капуста и фарш, что там можно испортить?

– И я так думаю, что простое блюдо-то. Как его можно умудриться сделать таким невкусным? Давайте придумаем что-нибудь другое. У нее же своя семья есть и дети. Почему она ими не занимается?

– Да занимается, целых трое, детей-то, да еще больная, лежачая мама. Мужа нет, сбежал. Но Ленкиной энергии на все хватает. Она ж – цунами, ураган. Сама доброта и участие, борьба с лишенностью и чужими бедами в широких масштабах. Она из приезжих, из общежитских. Те в свое время только на взаимовыручке и тянули. Слово «голод» было знакомо им не по историям военных времен. Всем делились тогда в общагах: едой, лекциями, одеждой... Мы завидовали им в чем-то. В общаге столько всего происходило, такая концентрированная жизнь. А у нас, местных, что: пришел из института, поел заботливо приготовленный бабушкой супчик и дальше не знаешь, куда себя приложить. Может, от общежитской жизни это все у Ленки осталось, а может, сама она такая.

Некоторым людям легче заниматься чужой жизнью, в ней же все понимаешь. Так хорошо видно: как жить другому. Своей жизнью заниматься значительно сложнее. Чуть остановишься, посмотришь на то, как живешь, и увидишь лишь тупики. Кому понравится? А в чужих лабиринтах всегда видятся выходы, да не по одному...

Ну ладно, я придумаю что-нибудь. Я же обещала тебе – помогать справляться с Ленкиной жаждой проявлять сострадание.

– Да уж, вот я про это и говорю: сколько же нам приходится тратить сил на то, чтобы справиться с чьей-то добротой. Что-то не так в этом все же, не находите?

– Нахожу, Степ, нахожу. Как там мама твоя сегодня? Ты ей звонил? К вопросу о доброте и помощи, ей ничего не нужно? Навестить, принести, лекарств достать?

– Нет, спасибо. Тетя Варя принесла ей все лекарства, какие нужно, и с врачами поговорила. – По лицу его пробегает какая-то мука, что-то горестное во вдруг опустившихся шуплых плечах, и все эти свидетельства его сильных чувств ему хочется скрыть от меня.

– Степ, не могу не спросить, уж извини. Не любопытства ради, просто чтобы не с чужих рассказов, а от тебя. Что же произошло? Я понимаю, что тебе не хочется, наверное, это вспоминать...

– Да, не надо об этом. – Он даже отвернулся от меня, чересчур резко, стул занесло, и он сильно ударился боком об угол шкафа.

– Прости. Больно? – Меня опять подбросило со своего места и рвануло в его сторону, трудно усидеть, когда видишь, как ранится ребенок.

– Сидите, ничего.

Мучительная пауза накрыла кухню, миг сделав нас чужими. «Зачем я здесь? Для чего сама-то лезу в чужие жизни? Хочешь как лучше? Вспомни Ленкины голубцы. Спасаясь от своих тупиков? Пора и честь знать. Не рань хотя бы ребенка своим спасением».

– Я пойду пожалуй, Степ. У тебя есть свои дела, уроки, наверное. Это я же в отпуске, а у остальных людей – будни. Спасибо за обед. Все-таки это необыкновенно вкусно – то, что ты готовишь. – Я пробиравалась к выходу, говоря дежурные, но искренние фразы, а хотелось реветь. Сильно так, отчаянно... Сесть бы тут, прямо на пол в прихожей и разревется белугой. О чем, не знаю.

Пока надевала пальто, запуталась в рукаве, лежавший там шарф застрял: ни туда ни сюда. Справившись и подняв глаза, я увидела не Степку, обычно по-деловому и гордо возвышающегося на своем офисном стуле, главного босса кухни. В низком инвалидном кресле с большими колесами сидел шуплый мальчишка, смотревший на меня с горечью и вызовом. И тогда я не удержалась:

– Сложно с тобой, парень. Вот ты сам готов и накормить, и поговорить, и побеспокоиться, а о себе позаботиться не даешь. И тогда, пойми, трудно к тебе приходиться, ведь начинаешь чувствовать себя дармоедкой, обедающей бедного подростка, у которого к тому же мама в больнице.

– А вы не приходите, – я открыла дверь, ничего не оставалось, как шагнуть за порог, – или поймите, что ваша ценность для меня не в том, чтобы что-то делать, сделать я и сам могу.

Я обернулась, хотела увидеть его глаза, но дверь уже захлопнулась.

Ей приснилось отчаяние. Оно выплюнуло ее из картины. «Акробаты. Мать и дитя» – так она называлась. Она видела ее в альбоме и помнит тот день, когда картина ее поглотила, овладела ею. «Розовый период», ха. Столько материнского отчаяния. Выросшая девочка на шаре. Теперь ты, сын. Перебирай ножками. Держи равновесие. Улыбайся. Ты в голубом трико моего старания и одиночества. Твоя способность держать равновесие – условие нашего выживания. Если ты не справишься, то и мне не жить. Не отворачивайся от меня. Я сама в отчаянии. Я хотела бы тебе другой судьбы. Но у нас с тобой только эта. Другой нет.

Она впервые проснулась не от боли, а потому, что глухо застонала соседка по палате. Чужая боль подбрасывала ее – встать и помочь, но тело не слушалось, слабость не давала даже пошевелиться. Сегодня какая-то правильная слабость, отпускающая, помогающая расслабиться, разрешающая не шевелиться, блаженная. Смешное слово. Блаженная слабость. Да, сегодня она может ощутить себя отдыхающей. Сегодня она просто отдохнет. Она в больнице. Ей ничего не надо делать, даже бороться с болью. Она хочет просто лежать, не шевелясь. Сегодня ей можно. Даже поспать еще немного. Пусть только перестанет сниться эта картина. Этот мальчик, отвернувшийся от материнского отчаяния.

«А вы и не приходите», – звучит как укор. «Зачем приходила? Кого жалела? Во что играла? Кто просил?» – «Ленка просила». – «Ты даже с этим не справилась. Ты обещала ей отчитаться сегодня вечером. Что расскажешь? Что он тебя выгнал? И что после этого будет?» – «А вот ничего и не будет. Пусть она прется к нему, а он терпит, раз такой умник. Или шлет ее куда подальше. Меня же послал». – «Тебя, видимо, можно. Одно из двух, либо это акт большого доверия, либо ты такова, что тебя можно обидеть и выгнать. Выбирай, что тебе приятнее думать». – «Пожалуй, пообещаю я пока, про большое доверие как-то верится с трудом».

– Ну что, как там ребенок? Что сказал врач? Чего привезти, завтра вечером приеду. – Она даже к вечеру полна энтузиазма, откуда он в ней только берется, и где тот бездонный источник? Сегодня он меня, по понятным причинам, особенно раздражает.

– Ничего не сказал врач, не приезжал он. И готовить ему ты можешь не стараться, не нравится ему твоя еда. И вообще никто ему не нужен, посылает он всех куда подальше. – У меня не было желания скрывать свою мрачность от Ленки, хотелось сделать что-то резкое, чтобы меня отрезало от этой истории, чтобы не было даже желания выискивать возможные пути назад.

– Какая муха тебя укусила, чего это ты? Почему врач-то не приезжал? Как у него горло? Везти мне завтра апельсины или нет?

– Ленка! Ну какие к черту апельсины??? Ему ничего не нужно. Он тяготится нами. Ты поняла? Тя-го-титя! Ему вообще стыдно, что мы вокруг его семьи круги нарезаем. Ему противно, что мы думаем, что без нас они с матерью не выживут. А они выживают. И у них все отлажено. Он в школе учится, у него друзей полно, продукты по интернету заказывает, книжки читает. Да он в полном порядке, может быть, в гораздо большем, чем мы с тобой! Чего привязались к пацану? Ленка, мы – две сумасшедшие тетki, которым заняться в этой жизни нечем!

– Это тебе нечем, – впервые слышу Ленку такой тихой и печальной, – мне есть чем, у меня мама и своих трое. Я просто помочь хотела. Не надо, так не надо. Сказали бы сразу. Пока.

Миссия выполнена. Только почему ж так гнусно и пусто? Ленку обидела, что ли, или потеряла что-то. Потеряла, наверное. Еще бы понять, что именно. Возможность какую-то.

Возможность быть лучше? Делить жизнь с этими людьми? Но я же не знала их. О его существовании до вчерашнего дня вообще не подозревала. А Ингу знала совсем давно, даже удивилась, что у нее, оказывается, был мой телефон, раз она меня сразу узнала. Жаль, наверное, что не знала. А может, и хорошо. Что бы я делала, если бы была у них в гостях, когда ее муж-уголовник приходил права качать? Сложно все это. А если бы мне досталось? История-то непростая.

Ну может, хотя бы когда у Степки бабушка умерла, я была бы рядом. С Ингой он не мог тогда поделиться своим отчаянием, хорошо хоть этот Каменецкий оказался рядом. Как важно, когда кто-то из взрослых просто оказывается рядом. Про это он и говорил, мол, для того и взрослые. Ну да, чтобы быть рядом... Тогда, уже за порогом, что же он сказал? Что-то важное после «а вы и не приходите»... Важное, а не вспомнить, настолько вытолкнуло и резануло меня это «не приходите».

Найти в интернете Каменецкого и его центр не составило труда. Гораздо сложнее было дождаться окончания его рабочего дня. И уже заходя в его кабинет, я поняла, что не знаю Степкиной фамилии, если она у него от отца.

– Вы по какому вопросу, барышня?

– Я не по вопросу, я бы поговорить с вами хотела про мальчика Степана.

– Про которого из? У меня много ребят.

– Про щуплого, с атрофией ног, сероглазого, вихрастого, с мамой Ингой.

– Про Степку? А что с ним? Вы из школы? По вопросам собеса?

– Нет, я не из школы, я просто Ингина подруга. Я так, по личной инициативе.

– А, по личной. Давайте... как вас зовут?.. Во-о-о-т, давайте, Арина, прогуляемся. – Кудрявый великан грузно вытащил свое могучее тело из-за стола. – Я так много сижу. К тому же я ничего не ел с самого утра, и если вы разделите со мной трапезу, то буду благодарен, заодно и поговорим.

Только выйдя за пределы центра, я увидела, насколько он вдруг сделался уставшим. Там в кабинете, мне казалось, царит, правит и спасает пышущий здоровьем и уверенностью пятидесятилетний великан, а здесь прикрывал калитку сторбившийся и абсолютно усталый «мужчина за шестьдесят» с сомнительным состоянием здоровья.

– Степка, говорите? И что с ним? Ноги болят? Или опять бузит? Справедливости требует?

– Справедливости – нет, вроде бы не требует. Его мама в больницу попала, там история какая-то жутковатая про его отца. Я толком ничего и не знаю, все по слухам. Так вот, мама в больнице, а я ее подруга, бывшая одноклассница, пришла Степке помогать, а он меня и выгнал.

– Прямо-таки выгнал? – Доктор с прищуром из-под седых бровей метнул мне улыбочку. – Это маловероятно. Степка – парень вежливый. Но не терпит, когда его жалеют. Но и это понятно, кому ж в его положении понравятся причитания. Он – парень с достоинством. Может быть, вы с жалостью переборщили. Или он вас проверял просто. С таким прошлым, как у него, не каждому доверишься.

– Да, вы правы. Нельзя сказать, что выгнал, это я, скорее, не так его поняла, обиделась. Ну вот как с ним быть? Я прихожу к нему, а он сам все делает, меня кормит, как маленький кулинарный бог по кухне мечется, восседая на этом своем офисном «троне», а помочь себе не дает.

– Он таки приспособил его? – Доктор даже приостанавливается, явно переживая удовольствие от моих новостей. – Вот рукастый! Это да, я ему идею подал, только там нужно было еще фиксатор придумать, чтобы ролики не уезжали, когда возле стола что-то делаешь или возле плиты. Нужен был упор, который бы рукой можно было включать. Ай да Степка! Витек, наверное, ему помог. Они вместе просто сила великая. Не пацаны – отрада моя.

Мы завернули в ближайшее кафе, где, судя по всему, его уже знали, улыбались и быстро принесли «то, что всегда». Моя солянка была лишь данью ноябрьской холодрыге, есть не очень хотелось. К тому же она пахла совсем не так, как то, что готовилось на Степкиной кухне.

– Так что вас мучает, дорогая барышня Арина? Что он не дает вам ему помогать? А с чего вы вообще решили, что ему помощь нужна?

– Ну не знаю. Мама его в больнице, я – взрослый человек, я же могу что-то для него сделать, вдруг что-то нужно. Вы же оказались тогда в критический момент рядом, тем самым спасли ему жизнь, я тоже...

– Я спас? Это когда же? У таких детей любой момент может быть критическим, особенно когда боли начинаются и есть шанс, что атрофия будет распространяться.

– Когда у него бабушка умерла и, по его словам, все вернулось, хотя они думали, что все уже остановилось. Я не очень знаю, что тогда с ним происходило. Вы вообще знаете его историю? Он мне не рассказывает, замыкается, когда я его про отца спрашиваю.

– Так вы и не спрашивайте. Зачем вам знать то, что другой рассказывать не хочет? Что вам мешает уважать чужое нежелание? Мало ли, по каким причинам ему важно не раскрывать перед вами свое прошлое. Ему может быть стыдно, страшно, он может бояться вас потерять, напугать. Он может, в конце концов, не хотеть испытывать боль,

вспоминаю. Что вам его прошлое? Настоящего может быть вполне достаточно. Вот вы что видите, когда смотрите на парня?

– Я вижу... мальчишку с русой челкой, в бандане, когда готовит. Щуплого, подвижного, сильного, наверное, иначе он не смог бы пересаживать самого себя со стула в коляску и обратно. Умного и взрослого не по годам, хотя, если честно, не очень знаю, какими должны быть дети в тринадцать лет. Такого... с достоинством, как вы правильно сказали. С силой духа какой-то, его приятно слушаться, он так мягко, но в то же время твердо командует. С печалью глубокой и с полными шкапами скелетов.

– Неплохо, совсем неплохо. Не так мало, как мне казалось. Что же вас тогда удивляет, что он просить не умеет? Чтобы просить, нужно признать свою беспомощность. А это ему пока трудно, с его историей тем более. Пока быть сильным духом и показывать, как многое на самом деле он может, – это настоящее спасение для него. Вот вам почему было бы страшно стать инвалидом?

– Мне? – «Ну у него и вопросы», – подумала я. – Для меня... наверное, самое страшное – это беспомощность и зависимость от заботы других, невозможность сделать все самой, потеря свободы.

– Вот видите, как просто. И чем шире остается зона возможного, тем больше остается смысла жить. Ведь вы не назвали еще кое-что, с чем такие дети вынуждены жить почти постоянно. Это боль и постоянный страх боли. Это страх отвержения мира и частая встреча с этой отверженностью, и это страх смерти, которая стоит к ним часто гораздо ближе, чем к нам с вами. И если всего этого вдруг становится слишком много, должен возникнуть особый смысл, чтобы оставались силы и желание проходить через это. И этот смысл для многих из них – быть нужным, не быть обузой. Быть способным не только позаботиться о себе, но и еще о ком-то. Ведь тогда все не зря. Чрезвычайно мучительно, моя дорогая, жить, не имея смысла. Особенно если ты инвалид. Здоровому-то не под силу. А уж больному человеку и подавно. Понимаете?

– Да, понимаю. Но ведь вы явно помогаете таким детям, и не только как врач. Вы чем-то очень поддержали его после смерти бабушки. И он принял вашу помощь. Что вы сделали?

– Ничего. Я просто был с ним рядом. Приходил каждый день после работы, уставший и голодный, а он просиживал весь день у окна: ни читать не мог, ни делать ничего не хотел. Инга в больницу слегла в предынфарктном состоянии. А он врубит Бетховена или Скрябина (я не очень-то в музыке разбираюсь) на полную мощь и сидит целыми днями. А я приходил, и ему нужно было встречать меня, музыку свою выключать, готовить, продукты закупать. Бандану вот ему купил. Все ругался на него, что не дело это – с немывтыми патлами по кухне разрезать. Неудобно ему было, инвалидное кресло низкое, но ничего, готовил, куда ж деваться-то.

Первые три дня вообще со мной не разговаривал. Приготовит, поедем. Я посижу, подремлю прямо там, на кухне. И домой. Только на третий день он расплакался, про бабушку рассказал. Я ему массаж стал делать. Его ведь на процедуры не увезешь, да и на массажиста у них денег не было. А массаж нужен. Очень. Только к его спине прикоснулся, так тот и расплакался. Но и массаж, конечно, болезненный. Тут не захочешь, заплачешь. Но вы понимаете, дело-то не в физической боли. Она – просто разрешение. Как поплакал, так, вижу, полегчало. Значит, будет жить, подумал я. Вот тогда идею с офисным стулом ему и подал. А дней через пять Инга вернулась, ну и все. Боли у него ослабли. Музыка стал другую слушать.

Им бы квартиру поменять. Мыслимое ли дело: его с пятого этажа без лифта таскать. Или коляску эту. Это так его ограничивает. Как Инга это все делала – ума не приложу. Когда хоть немного подвижность сохранялась, на костылях поднимался, спускался. Но вы ведь видели этот пятый этаж. Здоровый-то употеет. Им обязательно нужна квартира с грузовым лифтом и съездом специальным. Ладно, барышня Арина. Спасибо, что разделили со мной ужин. Привет Степке передавайте, хотя недели через две, по-моему, у него осмотр, так что увидимся с ним.

Весь следующий день прошел в маете. Столько месяцев я мечтала о такой благодати, как молчащий телефон. Мне казалось, что так мало нужно для счастья: всего лишь замерший маленький монстр, incapable выдавать трели, означающие «ты нужна, реагируй, вовлекайся, отвечай, помогай, будь на связи». И вот случилось. Благословенная тишина. И что? Так трудно поверить в это молчание, что несколько раз проверяю, подключен ли. Совсем не получается заняться хоть чем-то, что бы ни начинала, почему-то кажется, что все «не то», оно не стоит этого бесценного и когда-то желанного времени. Появляется ощущение, что делаю что-то такое неважное, а важное упускаю, безнадежно упускаю и тогда суетливо переключаюсь на что-то другое, и... тот же результат. Ни одно занятие не увлекает меня так, чтобы в происходящем забрезжил хоть какой-то смысл. Это так невыносимо – сталкиваться с собственным бессилием что-то изменить.

Такой день оставляет внутри горечь от бессмысленной потери времени и едкое недовольство собой. И когда наступил следующий день, я поняла, что встретиться с этими муками снова у меня просто нет сил. Точнее, нет

мужества и веры в то, что, промучившись, я смогу найти себе осмысленное занятие, способное меня полотить, наполнить, увлечь и дать хоть какое-то ощущение жизни. А для самой себя делать вид «мне так замечательно отдыхается» – утомило еще вчера.

– Степа, извини, что беспокою. Очень нужно поговорить. Я могу прийти?

– Конечно, приходите. Только лучше после трех, а то до этого я буду немного занят, тут будут дети.

«Даже он бывает занят. И откуда там какие-то дети? Может, все-таки хоть что-нибудь ему купить? Он же опять меня будет кормить. Откуда, интересно, у них деньги? И много ли? Ну может, его порадует хоть какой-то подарок? Или он опять воспримет его как проявление жалости или, еще хуже, как Ленкины голубцы?»

Иду зависать в книжный. В нем, кстати, всегда успокаиваюсь. Столько возможностей, столько уже кем-то созданных миров и смыслов. Такое спасение. Долго брожу среди полок, зная, где хранятся мои сокровища, этот (ура!) написал новый роман, срочно покупаю. А этот давно ждет меня в списке ожидания, ничего, скоро, толстяк, и до тебя доберусь. А эти у меня уже есть, надо будет перечитать. А у этой так ничего нового пока не перевели, быстрее бы уже. А еще этого нужно проверить, но его среди всего этого мусора и не найти. Наверное, переставили.

Может, мне книгу ему купить? Интересно, что он читает в свои тринадцать? Вряд ли «Дети капитана Гранта». Не долго думая, покупаю ему Эмиля Ажара «Жизнь впереди» и кулинарную книгу с почти съедобными картинками. Ну и музыку, конечно.

– Привет, – улыбаюсь ему настороженно, кто ж его знает, какой прием теперь ждет меня здесь.

– Здравсьте! – Нырять на этот раз не на кухню, а в комнату, выключить музыку, которую не узнаю, что-то очень симфоническое. Я в этом не сильна. Взгляд немного нездешний, как будто погружен во что-то. Но отвержения вроде бы не заметила.

Ковыряюсь в коридоре, ищу все те же фисташковые тапочки, не знаю, куда проходить. Почему-то робею.

– Чаю будете? Или голодны? Поесть? – смотрит на меня, но еще не вернулся из своих каких-то внутренних путешествий, присутствует здесь со мной в облике гостеприимного хозяина, а сам где-то далеко, в своих мыслях. Оказывается, очень трудно, когда так. Хочется, чтобы он быстрее стал тем прежним Степкой, которого я знаю.

– Чай буду, да. Спасибо тебе. – Надеюсь, что на кухне, в его привычном королевстве, восстановится та близость и связь, которая была тогда и которую, оказывается, я так ценю.

– Вы хотели поговорить. О чем?

Я почему-то благодарна его спине. Глаза было бы не выдержать. Спину легче.

– Сначала хотела бы извиниться. Ты извини меня, Степ. Я, наверное, часто спрашиваю лишнее. Просто я не знаю, что можно, а что нельзя. Я понимаю, что ты не хочешь и, конечно, не должен мне рассказывать то, о чем не хочешь. Я вроде бы не из любопытства какого-то, просто...

– Да вы не должны извиняться. Это меня клинит, когда вспоминаю об этом ублюдке.

– Об отце?

– Об ублюдке, который почему-то считается моим отцом.

– Да. Я понимаю. Не буду больше, захочешь, сам расскажешь. Ведь люди имеют право не рассказывать о том, о чем не хотят.

– Вы говорите, как он. – Степа уже здесь, со мной, улыбается и смотрит в глаза, наливая чай. Но я все равно еще туплю, видимо, от волнения.

– Как твой отец?

– Да нет же, как Каменецкий.

– А. Да. Я, кстати, с ним познакомилась, мы разговаривали, – облегченно улыбаюсь.

– Правда? А где?

– Я ездила в ваш центр, хотела увидеть человека, который спас тебе жизнь. Хотела узнать, как он умудряется помогать таким, как ты.

– «Таким»?

– Про которых непонятно, как им помогать, потому что они отвергают любую помощь, но, очевидно, в ней нуждаются.

– И что, узнали?

– Начала узнавать.

– А зачем вам это?

– По многим причинам: ну во-первых, дорожу нашим с тобой знакомством и хотела бы знать, как мне быть с тобой, но при этом тебя не ранить, да и самой не шарахаться. Я ведь с такими детьми раньше не общалась. Да и вообще детей своих у меня нет. И что такое мышечная атрофия, я до встречи с тобой не знала. А во-вторых, я ведь ничего не знаю о том, как и чем живут люди-инвалиды, а я ведь сама инвалид.

– Вы? Разве? А что с вами?

– Ограничение возможностей.

– Что?

– Инвалидов ведь называют «людьми с ограниченными возможностями», так?

– Ну да, называют.

– Вот и у меня это самое. Я – человек с ограниченными возможностями.

– Да бросьте, чего вы не можете-то?

– Гораздо больше, чем ты, Степка.

Его удивление сменилось недоверием, готовым вот-вот перерасти в злость.

– Я не издеваюсь. Вот ты чего не можешь? Ходить? Танцевать? Бегать? А я не могу жить. – Мне самой уже становится жутковато от слов, которые произношу. – Я не чувствую себя живой. Я не могу ощутить собственную жизнь точно так же, как ты не можешь ощутить опору в своих ногах. Такое, конечно, не всегда случается, но часто, очень часто, если только я не занята чередой каких-то дел, чужой жизнью или чужими историями в книге, которую читаю. У меня тоже, видимо, атрофия... собственного «я», личности, что ли...

Тишина, наступившая за столом, как-то пригнула меня, и я совсем согнулась над чашкой, в «три погибели», как говорила моя бабушка когда-то.

– Да ну перестаньте, – вдруг взрывает он тишину со смесью раздражения и какого-то непонятого облегчения, – что за глупости вы говорите! Да вы самая прикольная из взрослых, которых я знаю, после Каменецкого, ну и мамы, конечно. Атрофия личности – скажете тоже! Не видали вы таких. Вы в школе давно не были и в детской поликлинике. Сходите. Там таких, с обширной атрофией всего на свете, полным-полно. У нас тогда что, вся страна инвалидов?

– С этой точки зрения, наверное, да. У нас очень многие не знают, как жить, живут автоматически, как на трамвае едут. Поставили их на рельсы еще в яслях, и понеслись остановки: садик, школа, институт, замуж, работа, домой, дети, которых тоже нужно на рельсики ставить. По рельсам ведь хорошо: думать не надо, задаваться, так сказать, смыслами бытия. Главное – быть хорошим пассажиром. Самому сойти страшно, а главное, непонятно – зачем. Если выгонят – еще хуже. Это ведь будет означать, что ни на что не годен.

– Это почему же?

– Ну как почему? Другого-то навыка нет, только в трамвае быть пассажиром.

– Ну это будет повод научиться быть кем-то другим: пассажиром такси, самолета, корабля или даже водителем, боцманом, капитаном, например. Да кем угодно.

– Вот об этом и говорю. Я без жизни в трамвае вообще себя не мыслю. А у тебя двести других идей. Это и есть – мои ограничения.

– Да бросьте... приbedняeтeсь.

– Да если бы. Знаешь, я такое пережила... Вот спроси меня, что случилось? Всего лишь отпуск, в котором я провела один день, предоставленная сама себе, не поехала ни в какую зарубежную поездку, в которой новизна замещает то, что может родиться изнутри. И с чем я столкнулась? Я поняла, что вообще не знаю, кто я без своей работы и дел, чем себя занять и что мне нужно сделать, чтобы обрести смысл и понимание, зачем мне стоило проживать этот день, да и свою жизнь в целом. Вот у тебя такое бывает?

– У меня бывает, но не так. Я думаю, что все не имеет смысла, когда кажется, что боли не будет конца, и когда боюсь, что атрофия отнимет у меня и руки, а потом и остальное. Что она будет отнимать у меня меня самого по кусочкам. Чем чем дальше, тем больше я буду бессилён. Вот тогда я думаю, что смысла нет. Когда я понимаю, что уже сейчас я не могу защитить близких мне людей, а дальше может быть только хуже. И я не перенесу своей беспомощности. Вот от этого мне не только кричать хочется, а рвать зубами мои бессильные ноги, так подводящие меня... Я уверен, что если есть ноги, то все остальное так просто.

– Если бы, Степ, – вздыхаю я, – здоровые ноги есть у многих. А толку? Много ли вокруг «живых»?

– Не много. Но вы ещё ничего.

– Спасибо. Хотя «ничего», возможно, правильное слово. Я пока не очень «чего»... Удивительное дело, при внешнем абсолютном благополучии внутри меня столько нежизни, что даже трудно кому-то объяснить, что это и почему это так мучительно. Ее так трудно описать, так сложно вынуть ее из себя, но пока эта нежизнь внутри меня, я как будто не могу понять, что жива, порадоваться этому не могу. Ощутить себя счастливой хотя бы по той простой причине, что в отличие от тебя у меня здоровые ноги.

Я ещё тебя, Степ, хотела спросить. А почему вы квартиру не меняете? Как же ты попадаешь на улицу с этим вашим ужасным пятым этажом без лифта?

– На что ее поменять? – Его лицо снова стало суровым и взрослым. – «Двушку» в Люблино на что можно поменять, по-вашему?

– Ну на какую-нибудь «однушку», но с грузовым лифтом и съездом.

– Мама хочет, чтобы у меня была своя комната. И мне кажется, что это правильно, когда у нас у каждого – своя.

– Да, ты прав, извини.

– Вы что, все время будете извиняться, если у меня будет портиться настроение от ваших вопросов?

– А я что, часто извиняюсь?

– Реже, чем чувствуете себя виноватой. Но ведете себя так, как будто мне всегда должно быть хорошо от вашего присутствия.

– Да? Не замечала... Ну да. Конечно. А как может быть иначе? Если мы друзья или хорошие знакомые, конечно, мне хочется заботиться о тебе и делать так, чтобы тебе было хорошо со мной.

– Иначе что?

– В смысле? Иначе я буду переживать. Вдруг тебе будет плохо со мной, ты будешь страдать и будешь мечтать о том, чтобы я быстрее ушла.

– И почему же я вам не скажу, что страдаю?

– Наверное, побоишься меня обидеть или разозлить...

– Ну а вы обидитесь?

У меня начало появляться ощущение, что меня заманивают в какой-то капкан, причем, по-моему, я в нем уже была.

– Да, судя по последним событиям, обижусь, видимо, почему-то. Ты меня запугал.

– Понимаете... – Он вдруг подъехал на стуле к своему креслу и пересел в него, и наконец я увидела, как он это делает. Переместившись, он снова стал меньше, но расслабленнее, что ли. – Если вы не выдерживаете моей привычки и чувствуете себя виноватой, то я как будто должен перестать быть таким из заботы о вас, чтобы вам стало комфортнее. А если я хочу побыть, но вынужден перестать, то я страдаю, потому что перестаю быть собой. И если я это делаю, то потом обязательно все-таки скажу вам что-то резкое, и вы обидитесь, а я тоже почувствую себя виноватым. Так мы и будем ходить по кругу: сдерживать то, что внутри, думать не о себе, а о другом, и оба, что удивительно, будем от этого страдать... Знаете, чем спас меня Каменецкий?

– Чем же?

– Он выдерживал мое отчаяние. Ничего не делал, чтобы оно прошло. Он просто разрешал мне в нем быть столько, сколько мне было нужно. Но при этом он приходил уставший и голодный, и я должен был, хотел покормить его. Так я вынужден был учиться готовить. Если было невкусно, он вздыхал и наедался бутербродами и чаем. Так сквозь мое отчаяние стал проявляться смысл – мне нужно было научиться готовить хотя бы что-то съедобное.

Он не врал мне, не вкусно – не ел. Бухтел или даже ругался, если находил волосы в тарелке. Купил бандану. Иногда засыпал прямо за столом, во время нашего разговора. Это так освободило меня. Я понял, что я могу быть любым – отчаянным, беспомощным, плохо готовить, плакать, и все равно он придет снова. Я могу ошибаться и учиться, а он все равно будет пробовать мою еду. И я всегда буду знать, вкусно или нет. И если не вкусно, то это не повод все бросать и останавливаться, ведь завтра он придет голодным снова. Когда ты нужен кому-то таким, какой ты есть, вот тогда появляется жизнь, о которой вы говорите, и возможности.

Вот и вы бываете честной. Когда вы сказали: «я инвалид», я сначала разозлился, это и правда звучало как издевательство. Но потом, когда понял, о чем вы, то подумал, что, пожалуй, с вами можно иметь дело. Ведь сказать «я инвалид» очень трудно. Язык не поворачивается. Так долго бегаешь от этого слова. Да и вообще долго-долго делаешь вид, что ты такой же, как и все, и ничем от них не отличаешься. Так вдруг становится важно – не отличаться, вы не представляете. Кажется, все за это готов отдать. Мысль о костылях кажется просто жуткой, а уж о коляске... Принимать свои ограничения... Как же!

И вот когда я в очередной раз пытаюсь сделать то, что уже не могу, Лев Андреевич ставит мне мозги на место: «Степка, кончай тут представление устраивать, ты – не такой, как все. Ты не можешь опираться на свои ноги. Они могут, ты – нет. Тебе нужно искать другую опору». И становится ужасно грустно и горько так... Но потом поревешь дома в подушку, и ничего, жить можно, просто ищешь другую опору и понимаешь: да, не как все. Ну и чем плохо? Все, если вдуматься, не как все.

– Ты нашел? Новую опору для себя? – Мне уже хочется невозможного: чтобы меня усыновил этот мудрый ребенок, но мне бывает страшно смотреть в его глаза. Глаза человека, испытавшего больше, чем ему положено по возрасту.

– Да сложно сказать... Ее же невозможно найти раз и навсегда. Тогда я понимал, что нужен своей маме, любым нужен, просто живой. А если еще и жить мне интересно и нравится, то тогда в ней что-то распрямляется и оживает, а когда она оживает, то и мне еще больше хочется жить. Потом я понял, что могу больше, чем привык думать. Что могу многому научиться. А научившись, учить других. Я от нашего центра теперь разные секции веду. Одна из них сегодня была: «Как может помочь интернет нам, детям с ограниченными возможностями». Ну и еще другие... Кулинарную секцию вести вот тоже хочу, но пока технически это трудно устроить.

– Степ, а как ты думаешь, если я захочу прийти в больницу к твоей маме, меня туда пустят? Я тут подумала, что хотела бы ее навестить.

– Зачем вам? – Лицо его снова резко становится суровым.

Вспомнив, что он мне говорил часом раньше, я пробую не пугаться его эмоций и реакций.

– Мне важно. Я вижу, что тебя это почему-то напрягает. Если хочешь, можешь сказать почему. Но Инга – не только твоя мать, но и моя подруга, и я хочу поговорить с ней. – Откуда во мне что взялось, как будто ясность какая-то наступила и я поняла, что могу хотеть чего-то, даже если Степке это не нравится. – Я просто хочу понять, пускают ли туда посетителей или нет.

– Я не знаю. Тетю Варю пустили, но она сама врач. О чем вы хотите с ней поговорить?

Эмоциональное напряжение между нами растет по экспоненте, с каждой секундой.

– Да ни о чем особенном. О ее жизни. Что так тебя беспокоит-то? Мой разговор что, угрожает кому-то? Ей или

тебе?

– Что вы все лезете?! – Он неожиданно швыряет бандану куда-то в угол кухни, резко разворачивается на своей коляске и выезжает с кухни, оставляя там меня одну во всевозрастающем недоумении и растерянности. Я в смятении сначала порываюсь пойти за ним и выяснять, успокаивать, даже, наверное, сказать, что готова отказаться от своей затеи или уйти совсем, раз уж так злит его мои намерения. Но потом вспоминаю его слова о Каменецком: «он выдерживал мое отчаяние», и решаю оставаться там, где сижу.

Сижу... Кручу пустую чашку из-под чая. В голове пустота, к сожалению, лежащая не на плотном основании спокойствия и уверенности, а на панике и полном непонимании, что предпринять... Я просто сижу в панике. Я – женщина, мне можно. И у меня никогда не было бунтующих детей, да и вообще никаких не было. У меня – ограничение возможностей. Нет опыта. Я понятия не имею, что нужно предпринимать в таких случаях. Вдруг изнутри приходит какое-то разрешение не делать ничего. Просто сидеть и ждать. И это все меняет. Не внешне, внутренне. Я по-прежнему сижу и кручу чашку, но уже с полным пониманием, что это – единственное, что нужно делать в данный момент.

Он имеет право расстроиться, разозлиться, захотеть остаться одному. «Если ты испугаешься, обидишься, как в прошлый раз, уйдешь – ты покинешь его. Ты оставишь его только потому, что ему плохо, страшно, злбно. Как будто накажешь. Или покажешь ему, что ты не можешь быть рядом с его бурей, что любая его эмоция сдувает тебя отсюда, будто ты пушинка от одуванчика, а не взрослый, который еще пару дней назад бил себя пяткой в грудь в благочестивом намерении "помочь бедному мальчику"».

Минуты длятся бесконечно долго. Время схлопнулось и перестало существовать. Вот так, если просто позволить себе ощущать каждый миг, то оказываешься там, где времени не существует. Действия перестают иметь значение. И при этом ощущение жизни накатывает на тебя с такой мощью, что, кажется, не пережить: раздавит или разорвет изнутри. «Так и у тебя внутри буря. Тебе бы кто помог. А еще в помощники навязываешься». – «Да уж, теперь понятно, что лучше перестать чувствовать или заниматься чем угодно, лишь бы оказаться в эмоциональном шторме. В этом остром и желанном ощущении собственного бытия пребывать парадоксально невыносимо. Слишком страшно, слишком сильно, слишком беспомощно». Шуршание колес, и я вижу его в проеме двери. Губы сжаты. Морщинка у переносицы. Но не от злости. От грусти и боли.

– Я все еще здесь. – Теряюсь и не знаю, что сказать, это самое умное, что приходит мне в голову. – Хочешь, чтобы я ушла?

– Ужинать будете?

– Буду. Только мужу сообщение напишу, чтобы не волновался. – А самой не то что есть не хочется, дышать трудно. Остаться очень страшно, но и уйти невозможно, неправильно. Решаю просто сидеть и дышать. Молча, пока не родятся слова. Он молчит тоже. Но ему проще. Он уже на своем «троне», разъезжает по кухне, шебурша пакетами, открывая дверцы, гремя кухонной утварью, что, впрочем, почти не нарушает нашей оглушительной тишины.

– В первом классе я написал: «Я хочу, чтобы он умер». У нас была неплохая в общем-то учительница. У нее была идея какой-то рождественской сказки под Новый год, что ли, но письма мы должны были писать почему-то Деду Морозу. Путалась немного эта Светлана Валерьевна в мифологии. Но нам-то что, мы – дети, что скажут, то и выполняем. Она, конечно, как лучше хотела, чтобы мы могли написать свои заветные мечтания, а родители и школа приложили бы усилия и выполнили хотя бы какое-то из заветного списка как раз к Рождеству. Ну я и написал. Это было самое заветное, гораздо большее, чем новая приставка и новый комп, о которых я тоже тогда написал, поставив их пунктами вторым и третьим.

Она не нашла ничего лучшего, чем прийти к нам домой с этим листочком и показать его нам. Мама тогда сразу посуровела, забрала у нее мою писанину и сказала так, не сильно дружелюбно: «Мы разберемся с этим», – обняла меня, прислонив к себе. А этот ублюдок стал заискивать перед учительницей, чай предлагать. Говорить, что он все время на заводе, а вот жена, конечно, совсем с воспитанием не справляется. Но он-то приложит все усилия... Они так и сидели, пили чай, обсуждали нынешнюю молодежь. Улыбались друг другу. А мама стояла в дверях кухни и просто ждала, когда это все закончится, крепко прижимая меня к себе, и ее пальцы впивались в мою ключицу. Я до сих пор помню ощущение ее напряженных рук на моих плечах.

Тогда он в первый раз избил ее так, что она попала в больницу. Тогда я впервые остался с ним наедине и прожил пять дней. Тогда я впервые понял, что я не хочу, чтобы он просто умер. Я хочу его убить. Вырасти, стать большим, крепким и убить. Только прежде, чем он издохнет, избивать его долго и тщательно, вернув ему каждый удар, что он нанес ей за все эти годы. Чувствовать, как мой кулак крошит его кости. Как лопаются сосуды, как он взрывается изнутри.

Теперь вы понимаете, почему мои ссыхающиеся ноги были насмешкой Бога или Деда Мороза над моими детскими желаниями. Умереть мог не он, а я. И возможность сделать все то, о чем я так мечтал, таяла, да что таяла, сходила лавиной, обрушивая все то, на чем держалось мое понятие о справедливости.

Он замолчал. Выключил газ, разложил жаркое по тарелкам. Придвинулся к столу. Я молчала. Что могут слова, когда слышишь такое? Ни одно из них не казалось мне уместным. Хотя так хотелось спрятаться за их ширмой, и какое-нибудь вполне искреннее «мне жаль» могло бы закрыть тему. Вопрос в том, возможно ли ее закрыть. Ответ в том, что это не тема. Ни хрена не просто тема.

– Я не знаю, что дает тебе силы жить. И я не знаю, для чего твоей маме нужно было столько терпеть. То, что ты рассказываешь, очень страшно и очень сложно. И я все больше хочу ее увидеть и поговорить с ней. И может быть, ты все же скажешь, почему ты так против этого?

– Вам зачем?

– Ты все время задаешь мне этот дурацкий вопрос. Вот зачем твой Каменецкий приезжал к тебе тогда? Зачем ты его кормил, когда тебе в твоём отчаянии совсем ничего не хотелось, только умереть? Зачем? Кто его знает! Каждый хочет спастись через что-то, не ты один.

– Ну тогда и спасайтесь. Только не лезьте к ней. Ей и так непросто. Ей без вас забот хватает.

– Я не собираюсь доставлять ей еще больше забот. Я просто поговорить хочу.

– Откуда вы знаете, что разговоры ваши не будут для нее нагрузкой?

– Если будут, то она же может отказаться со мной разговаривать.

– Она не сможет вам отказать. Она безотказная.

– Боже, Степа. Ну что у тебя за представление о взрослых людях? Я не буду давить на твою маму. Тебе не надо спасать ее от меня. Мне уже идти пора. Спасибо тебе большое за ужин. Все удивляюсь, что ты готовишь так вкусно, а сам почти ничего не ешь. У меня для тебя есть маленький подарок, в книжный зашла. Вот возьми.

– Подарок? – Он озадачен и даже немного растерян, но автоматически протягивает руку за пакетом. – С чего вдруг в ноябре?

– А когда нужно? Подарки же дарят не только к праздникам. Часто просто так, потому что хочется. И раз он теперь твой, то ты можешь с ним сделать то, что хочется. Не понравится, выкинешь.

– Ну да, конечно, кто ж книги выкидывает, скажете тоже. Да и музыку. – Он все же с интересом разглядывает книги и диски, а я пока начинаю пробираться в прихожую, зашнуровываю боты, ставлю на место фисташковые тапочки, с которыми уже почти сроднилась, разгибаюсь. – Спасибо! – Он снова на коляске и снова кажется совсем ребенком, особенно когда так по-детски прижимает к груди мой пакет. – Вы приходите завтра, я хочу попробовать сделать лазанью, очень нужен будет дегустатор.

– Постараюсь, Степ. Если что нужно – звони.

Уже спускаясь по лестнице, я вдруг обнаруживаю утробно звучащий в сумке телефон. Ленка.

– Ты чего трубку не берешь? Звоню тебе, звоню. Пятый раз уже набираю. У Инги осложнение – воспаление легких началось, ее перевели в другое отделение, Варька достала лекарства, но привезти не может, дежурство у нее. Я завтра с утра тоже не могу, – частит она без пауз, не удосужившись проверить, слушают ли ее на другом конце провода. – Давай ты с утра к Варьке за лекарством, а потом на «Спортивную» к Инге. Апельсины ей купи, ей же нужен витамин С.

– Дались тебе эти апельсины, – вставляю я в паузе, – да, съезжу, я все равно к ней собиралась. Скинь мне, как ее найти. А меня к ней пустят?

– Пустят, конечно, в приемные-то часы. Я потому тебе и говорю, давай с утра, а то проваляешься до полудня, как ты любишь...

– Ну и провалялась бы, я же в отпуске... когда еще валяться-то?

– Человеку лекарства нужны, а ты валяться будешь. Как там, кстати, этот свинтус?

– Кто?

– Ну, Степка, кто... Этот неблагодарный маленький поганец.

– Ты обалдела, что ли, Лен? С чего он тебе поганец, да еще и неблагодарный? Потрясающий парень. Просто удивительно, как он таким вырос, учитывая, через что им с Ингой пришлось пройти.

– Конечно, поганец. Говорит мне в домофон: «Тетя Лена, если вы с едой, то я вас не пушу!» Каково?! Я Инге позвонила, хотела заехать к ней, ключ у нее взять, чтобы я всегда могла в квартиру зайти, вдруг чего еще этот поганец придумает. Так что ты думаешь? Не дала! Сказала, что он имеет право не пускать того, кого не хочет! Это меня-то не хочет! Я ведь с хорошими намерениями. Помочь хочу. А он, видите ли, имеет право не пускать. А? Каково?!

Хорошо, что я была выжата, как лимон, иначе мой мозг взорвался бы: «Мы с ней с одной планеты?! Учились в одном институте?! И нас учили одному и тому же? И говорим мы об одних и тех же людях?» Но сил хватает только на то, чтобы сказать:

– Все, Лен, я в метро захожу. Присылай смс-ку с информацией, и как Варьку найти тоже. Я же никогда не была у нее.

Варька была чудом. Я помню, как она мне нравилась. Рыжее чудо. Как так случилось, что мы давно не виделись? Хорошо еще, что есть соцсети. Московская жизнь незаметно, но безнадежно растворяет нас в себе, не оставляет места и времени для важных встреч.

В нашу студенческую компанию Варька попала благодаря Алику, который каждой мало-мальски красивой девушке представлялся, еще больше понижая голос, «Альбертом». Но для нас он был – Алик. Нарциссичный, но потешный. Весьма талантливый, но, как многие москвичи, выросшие под сильным родительским прессом амбициозных ожиданий, раздолбай и лентяй.

Варька была его «девушкой с медицинского», как он когда-то нам ее представил. Когда Алик надувался как индюк, в надежде что объем грудной клетки сделает его выше ростом и значительнее и это придаст его неказистой фигуре и веснушкам по всему телу благопристойный вид, Варька всегда говорила: «Расслабься, Алик. Ты и так невыносимо прекрасен. Напрягаться – вредно для здоровья». Он всегда улыбался в такие моменты, и его улыбка могла бы сразить любую девушку значительно эффективнее, чем низкий голос и раздувшаяся от усердия хилая грудь. Просто улыбался так он только ей, Варьке.

Когда мы были на третьем курсе, родители Алика получили назначение в Австрию и решили увезти его с собой. Как чемодан, не спрашивая. Он не смог противостоять. Так Алик исчез из нашей компании, а Варька осталась. Она к нему съездила потом, уже лет через пять, он тогда жил в Париже и учился в Сорбонне. Сказала, что наш герой стал скучным, грустным, потухшим и пьет крепко, по-русски. Говорит, что даже его рыжина превратилась в ржавчину.

Сама Варька потом вышла замуж за своего бывшего однокурсника, дети у них, вроде бы даже двое. И работают они оба в обычной московской больнице. Туда я и ехала с утра, злая немного, как всегда, когда приходится рано вставать.

Пока ждала ее в вестибюле, ординаторская молодежь активно строила мне глазки. Два молодца, плохо сознавая, что халаты не прибавляют им особой значительности, пытались завести со мной серьезные беседы на медицинские темы, а я сидела и улыбалась тому, что отдала бы многое, лишь бы снова ощутить свободу и везнаиство двадцати пяти лет.

– Савушкин и Кашинцев! Вот вы где! – Чумовая рыжеволосая красотка, яркая, как будто еще ярче, чем я ее помню, появилась из-за нашего плеча. – А там Егор Федорович уже сбился с ног, жаждет изречь известную на все отделение своим занудством лекцию о трудовой дисциплине.

Молодежь тут же сдуло, и я стала рассматривать Варьку так, будто рядом со мной на больничном диван из кожзама опустилась какая-то голливудская звезда.

– Ва-а-а-рка! Какая же ты стала, еще невероятнее, чем на фотках! Они ж, поди, непрерывно тебя видят в самых смелых эротических снах. Снотворное, поди, воруют, чтобы во сне снова пережить все эти волнующие приключения.

– Болтушка ты. Боятся они меня. Я их гоняю, в ситуации постоянного стресса либидо особенно не разгуляться. Ты

тоже отлично выглядишь. Что, Ленка и тебя вбуравила в эту историю?

– Да не говори, неугомонная. Ни противоядия от нее, ни прививки еще не изобрели. Все время себе клянусь, что не буду отвечать на ее звонки. Но жалко же. Это же Ленка. Вдруг когда-нибудь она позвонит просто так, соберется, например, и затусить, а не для того, чтобы вклиниваться в чью-то жизнь с широкомасштабным планом спасения «А», с запасным планом «Б» и еще парочкой планов на случай, если спасаемый начнет сопротивляться. Как думаешь, такое может когда-нибудь случиться?

– Вряд ли. Помнишь ту тусовку, что она устроила для нашего ханорика Анатолия? И все потому, что ей втемяшилось, что Толику срочно нужна девушка. А то у всех есть, а у него нет. А тот факт, что у Толика вообще друзей не было, не то что девушек, и что он людей боялся, как огня, этого наша спасительница не замечала. Мы еще удивлялись, что Ленка устроила сабантуй в общаге. А все, оказывается, было в благотворительных целях. Пацаны еще пару лет потом вспоминали, что бедный Толик прятался и плакал в туалете. Кто-то из них его из туалета выманивал и помогал ему такси вызвать. И ты помнишь, как он потом от Ленки шарахался, просто трясся весь. Его можно понять.

– Да, я, пожалуй, не знаю людей, способных противостоять Ленкиному напору милосердия. Вот разве что Степка Ингин, представляешь, не пускал ее в дом, она его все накормить пыталась. Так парень оказался крепок – не сдался! По-моему, первый случай за всю историю. Кстати об Инге. Что с ней такое? Правда, воспаление легких, или опять Ленкино преувеличение?

– Да не очень понятно, скорее всего острый бронхит, так сказал ее лечащий врач. Остается ему верить, самой-то не вырваться. В любом случае антибиотики вот возьми. Там написано, как принимать. Да она и сама знает, не впервой. Ей уже можно в медицинский идти, так много она всего изучала, пока Степку пыталась на ноги поставить. Она сделала для него столько, сколько не всякая мать может. Вот самой бы ей как-то выжить. Боюсь я за нее.

– Из-за побоев? На ней что, живого места нет?

– Да не только. Переломанные ребра заживут, сотрясение пройдет. Она же живет на износ. Ты знаешь, что она сама его таскала с этого идиотского пятого этажа и обратно! И коляску еще! Ну нормальная, вот скажи? Степка и так не ел толком, как потом выяснилось, чтобы меньше весить, а потом есть перестал совсем, сказал, что не будет, пока они не придумают что-нибудь. Благо, умница Каменецкий взял в штат санитаря, который за такими детками приезжает, когда надо на осмотр или процедуры, спускает их сам, поднимает, коляску тоже. Большой такой, огромный и добрый. Андрей зовут. У него, конечно, не умственная отсталость, но какое-то нарушение точно есть, видела его только мельком. Но сильнющий! И добрый, просто поразительно. А до этого она сама его таскала везде. Вот так она и живет, работает на двух работах и еще шабашки берет, ночами сидит иногда. Деньги же нужны, сама понимаешь. Ее, конечно, смерть свекрови сильно подкосила. До этого они со Степкой хоть как-то выровнялись, Инга даже улыбаться начала. А тут – бац. Алевтина Андреевна умирает.

– Как свекрови? Я думала, это мать ее? Получается, что это мать мужа?

– Ну да. Темная это история. Сама толком не знаю. У Инги мать умерла, когда ей лет пять-шесть только было. Она с отцом жила. После школы в Москву приехала, у тетки поселилась, поскольку боялась не пройти по конкурсу, если будет на общежитие претендовать. Тетка – сестра отца, гримза, по-моему, редкостная. Мучила ее, измывалась, вот Инга замуж-то как можно быстрее и высочила. И то большой вопрос, из-за мужа ли, мать его так к Инге прониклась, так любила ее, доченькой называла. Все говорила, что дочерей Бог не дал, только сына. И вот тут счастье-то какое.

И все бы ничего, только муж ее пить стал крепко да избил сына какого-то важного начальника. Не знаю точно. Поехал отбывать срок на два года, и мать поехала за ним. Далеко куда-то, города не помню. А у Инги только что Степка родился, представляешь? Вот зачем ее свекровь туда поехала, когда у нее внук родился и она здесь была нужна? Она бухгалтер, там работу быстро нашла, пока он сидел, даже квартиру купила. Он с ней пожил после отсидки совсем немного. Мать работу ему там нашла, уговаривала остаться, но он через какое-то время все равно к Инге в Москву вернулся. На завод его назад уже и не взяли, да и вообще на работу непросто устроиться с таким-то прошлым.

Он пить еще больше стал. Уж не знаю, когда он ее бить начал. Инга в какой-то момент не выдержала, со Степкой к свекрови в такую даль сбежали, думали на лето, а получается, больше полугода прожили. Но потом Степке пришла пора искать школу, к его первому классу они и вернулись. У него уже тогда ноги болеть начали, только никто не мог понять, отчего. Да и Степка терпеливый, не скажет же сроду, всегда мать жалел. Запустили какую-то болячку, наверно. А уж когда ходить ему тяжко стало, тут подключились все, Алевтина приехала, жила с ними,

помогала чем могла. А этот крендель снова срок получил, уж не знаю точно, за что.

На этот раз его в другое место сослали, и мать за ним уже не поехала, а наоборот, все с облегчением вздохнули. Потом в какой-то момент решили, что надо и Алевтине Андреевне сюда перебраться, там квартиру продать, здесь менять на что-нибудь, а то от этого пятого этажа озвереешь. И они еще хотели успеть сделать это до его освобождения, что ли... не помню. Короче, его мать едет туда, выставляет квартиру на продажу, а она все не продается, времена-то какие были, помнишь. Он уже и освободиться должен, а в Москву не возвращается, куда делся, неизвестно. А потом Алевтину находят мертвой в ее квартире. Что случилось, непонятно. Она там, Инга здесь, прихватило ее тогда сильно, даже на похороны не смогла поехать. Крендель сам ее и хоронил. Потом исчез куда-то, не появлялся до последнего времени. А тут, неделю назад, видишь ли, объявился и давай к ним ломиться. Инга сначала не пускала, держала оборону, а потом сдалась, впустила, ну дальше ты знаешь.

– Господи, какая жуткая история. Почему же она с ним жила, с этим кренделем? Если он такой урод, ее бил, в тюрьме сидел? Почему не развестись было, ведь ребенок же у нее?

Варька смотрит на меня так, что я понимаю, что вопросы задаю наивные, но сделать ничего не могу. Понять ее не могу. Вот как? Как так можно жить? Зачем?

– Ладно, Аришкин, двигай. Я же-шь на работе все-таки. А тебе успеть надо, а то потом прорываться придется сквозь кордоны. Если будут трудности, говори, что Смольников разрешил, он у них завотделением, друг мой, а ему скажи, что ты от Варвары Игоревны, он мне почти жизнью обязан.

Ночью у нее, видимо, был сильный жар. Она металась и кричала. Соседка по палате будила ее несколько раз ночью. Наверное, даже приходила сестра. Ставила ей какой-то укол. С утра болела голова и не было сил двигаться.

– Кого вы все время звали? Кто вам эта Герника?

– Герника? Я говорила «Герника»? – Голова гудит и не хочется думать.

– Ну да, знакомая ваша, что ли... так вы в мою руку вцеплялись, так кричали страшно, за сестрой пришлось идти.

– Не знаю. Я не знаю, почему я так говорила. Снилось, наверное, что-то.

Она почти задремала, когда это нахлынуло на нее снова. Ужас и боль. Черное и белое. Тени и свет. Разъятое, расчлененное, несовместимое. Что-то еще живое. Когда-то бывшее целым, дышащим, чувствующим, а теперь только сгусток боли и ужаса. Повсюду. Только что было живым. И вдруг все смешалось: черное с белым, живое с неживым. Необратимо смешалось. И спасения нет. Взперти у смерти. Только ощущение собственной малости перед великим уничтожающим ничто.

Она заставила себя очнуться. Это невыносимо. Нет сил погружаться туда снова. Так хочется спать, но нет сил снова и снова видеть этот сон. И вдруг как озарение – это же просто картина! Это «Герника»! Ей даже удалось глубоко вздохнуть, не чувствуя уже привычной боли в груди. Опять Пикассо! Сумасшедший старик снова прокрался в ее сны. И эта картина когда-то съела ее, теперь вот не достать. Ну раз снится, то, может, просится наружу. Быть может, это к освобождению из плена. К освобождению, да. Если смерть – это единственный выход для того, чтобы освободиться от нее, она согласна. Если смерть – это просто тишина, черное полотно, то она согласна, хоть сегодня...

– Ваш главный врач, Смольников, мне разрешил!

– Он завотделением, а не главный врач, девушка. Что вы все сочиняете? Сказали же – нельзя!

Какая-то возня перед дверью, и в палату вваливаются Светочка – самая принципиальная медсестра на этаже, раскрасневшаяся от рвения и важности поставленных перед ней задач, и Арина, настроенная по-боевому, с выражением на лице «вам меня не остановить». Она улыбнулась, вспомнив, как с таким выражением Арина проходила даже мимо Васильича, если забывала студенческий. А Васильич был цербер еще тот. Если она могла пройти мимо него, то ей и кремлевские стены нипочем, не то что хоть и ретивая, но молоденькая, не закаленная в боях, Светочка.

– Девушка, я от самой Варвары Игоревны. Не заставляйте меня набирать ее номер и отвлекать от операции только для того, чтобы вас утешить. Я ненадолго, и вас никто не заругает. Вернитесь на пост. Вы нужны вашим больным, им без вас никак, а я отлично справлюсь.

Арина мягко, но решительно прикрывает дверь. И теперь она может ее рассмотреть. Столько времени прошло...

Совсем не изменилась. Садится возле.

– Выглядишь ты – хуже некуда.

Трудно не улыбнуться. Арина верна себе. Это большое облегчение. Слышать Ленкино «ты сегодня отлично выглядишь, сразу видно, что идешь на поправку» гораздо противнее.

– Да, спала плохо. Жар был.

– Я принесла тебе таблетки, Варька говорит, ты все знаешь. Я-то в этом мало понимаю. Кроме таблеток, пока ничего не принесла, потому что совсем не знаю, что тебе нужно. Ленка вопила про апельсины. Но похоже, она просто считает их каким-то волшебным средством от всех болезней сразу. Я не стала покупать.

– И правильно. – Я приоткрываю тумбочку, чтобы стало видно, насколько она была права в своем решении. – Ленка просто добрая и хочет как лучше.

– Угу. Да. Но Ленку можно выпускать к людям только вместе с антидотом к ее доброте. Или отрабатывать на ней навыки общения с представителями инопланетных цивилизаций, думающих, что они тоже говорят и понимают по-русски.

– Да ладно тебе. Это у них семейное. Ее мама, лежащая уж пятый год, до сих пор выдает подробные инструкции всем четверым, как только открывает глаза. Представляешь, как Ленке жилось, когда мама была еще на ногах? Муж не выдержал, сбежал. А Ленке что делать? Куда сбежишь от собственной матери? Ладно, расскажи, как ты.

– Я ничего, в отпуске вот. Не поехали никуда. Не получилось совместить отпуска. Ну мы и остались в Москве куковать. Но знаешь, я даже где-то рада. Вот с сыном твоим замечательным познакомилась. Поражаюсь ему. Потрясающий мальчишка.

– Со Степкой? Да, он говорил. – Ее лицо озарилось и сразу похорошело, будто и не было плохой ночи. – Спасибо тебе, что заходила к нему. Он не грубил тебе, не расстраивал? А то он такой стал, что может. Ленку вот не пустил.

– Да ну что ты. Ты же понимаешь, что он подросток. А не быть раздавленным Ленкиным желанием причинить добро – святое право каждого человека. Со Степкой мы отлично ладим, не переживай. Уж скорее я его расстраиваю, по-моему, чем он меня.

– Ты? Чем ты его можешь расстраивать?

– Вопросов много задаю, а он этого не любит. Даже не знаю почему, не могу не спрашивать. Мы о таком сложном можем говорить часами, о чем с другими, даже взрослыми, не получается. А как только дело касается тебя или его отца, так с ним такая трансформация происходит. Даже жутко становится. И спрашивать нельзя и не спрашивать невозможно. Это как, знаешь, слона в комнате не замечать. Сложно очень. Ты-то можешь мне рассказать, или тебя тоже не надо спрашивать?

– Что ты хочешь услышать? – Ингино лицо из усталого и растерянного тоже делается суровым, и они с сыном становятся так похожи, так грустно похожи с этим настороженным взглядом, с этой складкой на лбу.

– Не знаю, наверное, хочу понять, почему ты так долго с ним жила, с мужем. Мне трудно представить тебя, ту Ингу, которую я знаю, согласившуюся жить с этим всем. Почему ты не ушла от него, когда это случилось в первый раз? Как так можно было жить?

– Арина, все не так просто. Куда можно уйти, если у тебя на руках совсем маленький ребенок? Если нет ни дома, ни работы, ни хоть какого-то родного человека рядом. Наверное, тебе, с твоей большой московской семьей, состоящей из многочисленных родственников, трудно представить, как это – жить без дома и семьи. Еще страшнее, когда те, кто считается твоей семьей, унижают и мучают, когда тебя выгоняют из дома за малейшую провинность, и выгоняют гораздо чаще, чем ждут.

А когда встречаешь того, кто хотя бы иногда готов согреть тебя и защитить, то прощаешь ему все, что бы он ни творил. К тому же Алевтина Андреевна... Когда растешь без матери, то женщину, которая гладит тебя по голове, понимает и обнимает за плечи, трудно покинуть, почти невозможно. Когда осознаешь, в каких условиях росла сама, так не хочется лишать своего сына семьи, отца, бабушки.

– Но...

– Просто очень страшно от одиночества. Пока она была жива, у меня сохранялась надежда, что у Степки есть еще

один человек, который его беззаветно любит и позаботится, если со мной что-то случится. А когда ее не стало... Я уже не знала, как мне жить. Я устала очень... И потому, когда он вернулся, я не знала, что делать, как поступить.

Она отворачивается, и мы какое-то время сидим в тишине, ее соседка по палате устала сидеть в журнале, не дышит и не переворачивает страницы.

– Я растерялась, не знала, что делать. Этот в домофон говорит: «Я работу нашел, я хочу заботиться о вас, ты что же, ребенка хочешь лишиться отца?» Степка беснуется и кричит: «Не пускай его, он все врёт. Мы ему не нужны. Мы справимся сами! Мама, я с собой покончу, еслипустишь!» Тот в домофон снова: «Я же по-хорошему. Нам просто надо поговорить обо всем. Если непустишь, то ты же знаешь, я и по-плохому могу. Это ведь моя квартира, и меня ничего не остановит. Ты же на работу уходишь, а моим друзьям ничего не стоит... и уж им этот выкормыш в коляске...» И я знаю, что его уже ничего не остановит, если что-то задумал. Бесплезно стоять у него на пути. Я испугалась. Да что испугалась, разве когда-нибудь я жила без страха? Я не помню, когда бы я не боялась. Степка звонит в милицию, а они ему: «К вам хочет зайти этот мужчина? А он вам кто? Ваш отец? Здесь нет никакого правонарушения. Вот будет, тогда и звоните». Этот в подъезд уже прорвался, в дверь колотит... вот и пустила... поговорить.

– Так, но что-то же можно сделать? Есть же какие-то центры, оказывающие помощь жертвам насилия. Я могу узнать, они наверняка оказывают юридическую и прочую помощь. Ты поправишься, и мы сходим туда вместе.

– Да брось ты, что они могут...

– Инга, я понимаю, что ты привыкла со всем справляться сама. И Степка твой такой же. Но пойми же, что не все можно сделать самой. Ты же сама говоришь – устала. Нет сил. Что будет, если тебя не станет? Как он будет жить? Мы должны попробовать, если не получится, будем искать другой помощи. Ты же не хочешь, чтобы в конце концов он тебя убил на глазах твоего же ребенка? Кому от этого будет лучше? Кому? Ты же понимаешь, что он никогда не одумается! Он же болен! Если он не будет лечиться, то он приберет кого-нибудь. Или тебя, или Степку.

– Нет, его он никогда не бил.

– При тебе не бил. Ты не знаешь, что он делал, пока ты лежала в больницах. И потом, ты можешь себе представить, каково твоему сыну – видеть, как он избивает самого дорогого человека, и не быть в силах даже подняться со своего кресла?

– Слава Богу, что не может...

– Ну что ты говоришь?! Ты хоть слышишь себя, что ты говоришь?

– Я запретила ему. Он как-то схватил нож, подбежал к нему и пытался воткнуть, но промахнулся, к счастью. Этот же бешеный, в него не попадешь. Я тогда сказала сыну, что не выдержу, умру от горя, если еще и он станет преступником и сядет в тюрьму.

– Боже, Инга! С тобой с ума можно сойти! Вот что ему делать, когда все это происходит? Сидеть и смотреть, как его отец убивает его мать? И кому нужна тогда такая семья? Боже, я ничего не понимаю... Да, мне это трудно понять... У меня это не укладывается в голове. Так нельзя. Нельзя так жить, как ты живешь, Инга. Как бы сложно ни было. Одиночество, я все понимаю. Но это же безумие – так жить!

– Да ладно вам, – соседка отложила свой журнал, – все так живут. Подумаешь, муж бьет. Да у кого не бьет-то? Ну побил, потом же всегда прощения просит. Наверняка потом несколько месяцев ходит как шелковый. Моего иногда даже на полгода хватало. Чувствует же, что виноват, скотина, зато все делает, что ни попросишь. Даже пилить не надо. Делает с первого раза и все. Мой даже подарки после этого всегда дарил. Подумаешь, побои. Какая русская баба их не терпела? Зато мужик в доме. Одной-то поди как плохо. Все правильно она говорит.

«Боже, держите меня за руки и за ноги! Не прибить бы мне эту женщину. Дыши, Арина, дыши... не надо пытаться объяснить необъяснимое. Люди разные, повторяй: "Люди разные, они вправе говорить то, что говорят"».

– Ты права, Арина, – Инга мечет недружелюбный взгляд на соседку, – безумие – так жить, но я пока не знаю, как по-другому, устала.

Бодрая медсестра Светлана врывается в палату с торжествующим видом «спасительницы при исполнении»:

– Можелевская – в процедурную, у вас уколы.

– Я приду еще, Инга. Узнаю все про эти центры и приду. Ты скажи, принести тебе что-нибудь в следующий раз?

– Да нет, что ты, не беспокойся, мне ничего не нужно.

– Ты все-таки подумай, если что, смс-ку напиши. Мне не сложно. – Я обнимаю ее уже в дверях, ощущая всем телом ее хрупкость и худобу, ужасаюсь тому, что она могла таскать своего ребенка на пятый этаж. Мне хочется обнимать ее так долго, чтобы она смогла вместить в себя хоть немного моего тепла и силы. Моей уверенности в том, что другая жизнь очень даже возможна.

Журналистское прошлое позволяет мне легко и быстро находить любую информацию, а уж в эпоху Интернета возможности поиска вообще не ограничены. У меня чешутся руки, чтобы взяться за эту задачу как можно быстрее, но я помню, что обещала Степке прийти на дегустацию лазаньи.

Метро погружает меня в созерцание. Поражаясь Ингиной истории, я все равно как будто не могу до конца ощутить этот ужас, он как-то не вмещается в меня, не влезает. Мне трудно понять, как можно столько лет жить в страхе, на что-то надеяться, чего-то ждать. Как можно считать близким того, кто поднимает на тебя руку! Как можно считать домом место, где все это происходит!

Я смотрю на людей, едущих со мной в вагоне, и думаю, кто из них смог бы так жить? Вот эта девушка с плеером и оранжевой сумкой? Эта вряд ли. Слишком расслабленное лицо, шарф, подобранный в тон сумке, сидит с полным комфортом и полным правом сидеть. Выглядит довольной жизнью. А вот эта да... возможно. Тусклые волосы из-под вязаной шапки с катышками, измученный вид, сидит скособоженно, неудобно, выдавшая виды сумка из уже потрескавшегося кожама, пакеты, с виду тяжелые, глаза в пол и тоже морщинка на лбу. Дело, конечно, не во внешнем виде, а в общем впечатлении – человека, которому почему-то все равно, что с ним. Вот тогда, наверное, кажется, что можно сделать с ним все что угодно: заставить, унижить, подавить, «поработить». Все, что придет в чей-то больной мозг.

Когда на кольцевой заходит толпа, «несчастливая» торопливо встает, уступая кому-то место, теперь у нее в одной руке увесистая сумка, в другой – тяжеленные пакеты. Сколько ей лет? Не понять. Можно дать от тридцати до шестидесяти. Теперь ей нечем держаться, сумки в обеих руках, и ее швыряет по вагону, когда поезд тормозит или разгоняется. Девушка с оранжевой сумкой сидит по-прежнему. Ей хорошо, она слушает музыку. Впрочем, когда на следующей остановке заходит женщина с маленьким мальчишкой, она встает, уступая им место, и также с полным правом и комфортом устраивается возле двери.

Несчастную все швыряет, и она задевает своими пакетами какого-то дядьку, тот огрызается, как именно, не слышу. Она извиняется, а затем суетливо и скованно пытается взять все сумки в одну руку, чтобы другой держаться, при этом задевает какого-то парня. Этому, видимо, все равно, но она и перед ним извиняется. Мне становится и жалко ее, и как-то досадно. «Уж лучше сидела бы, вот что теперь маешься?» Все же решаю привстать, уступить ей место, даже не из жалости, а просто раздражает, сил нет смотреть на ее мучения.

– Нет, нет, сидите, спасибо, я постою, – торопливо отвергает она мое предложение.

«Ну стой, мучайся, – уже зло думаю про себя, – кто ж запретит тебе мучаться-то». Сама сижу и думаю, как, должно быть, тяжело все время видеть перед глазами такую несчастную. Может, конечно, у нее, как и у Инги, есть веские основания быть такой. Но сколько же злости рождает собственное бессилие от невозможности прекратить чужие страдания. «Хорошо, что тебе выходить пора, а то бы сидела и мучилась, глядя на ее бесплодные попытки никому не помешать». – «Да, щдас, мучилась бы! Я бы перестала смотреть на нее, и все». – «Ну да... Это смотря во что бы вылились ее страдания. Если бы она тут в обморок стала падать от истощения или усталости, ты не смогла бы оставаться безучастной». – «И то правда, хоть на этом спасибо – в обморок не падает».

Вообще-то я помню эти жутко неприятные чувства. Проходя мимо нищих, просящих подаяние, я всегда испытывала неловкость, мне было трудно не чувствовать себя виноватой и выбирать между желанием что-то дать (не жалко же, а они просят, им нужно) и нежеланием, ощущением вовлечения в какую-то неприятную игру. Когда я была помоложе, меня серьезно мучил этот неразрешенный конфликт, невозможность решить: что будет добродетелью, а что – поддержкой чьего-то разрушительного поведения. И только после того как Ромка, мой хороший знакомый, проведя журналистское расследование, убедительно рассказал о том, что нищие и просящие подаяние – это, как правило, целая индустрия, чей-то криминальный бизнес, мне стало немного легче.

Со временем я и сама поняла, что в большинстве случаев это бизнес, строящийся на манипуляции человеческими чувствами: жалостью, страхом собственных увечий и старости, желанием ощущать себя добрым, виной и стыдом за собственную жадность. Бизнес, строящийся на удовлетворении человеческих потребностей, как любой другой, на человеческих страстях. После этого стало легче. Я уже могла не давать просящим подаяние, опираясь на собственную позицию.

Нужно проявить свое милосердие? Не ленись, подумай сначала, куда его направить. Не делай это автоматически, будто откупаешься от людей. Или не создавай иллюзию собственной щедрости и доброты, если ты всего лишь поддержала чью-то идею – использовать несчастье других. У каждого из них есть возможность поступить по-другому, но они выбирают этот путь, ты можешь его не оплачивать.

Благотворительность или милосердие я всегда считала серьезным делом. Помочь так, чтобы не навредить, а действительно помочь, – непростое мероприятие. Оно требует душевных и интеллектуальных вложений. Я относилась к этому серьезно, не раз размышляя об этом, собирая информацию, изучая вопрос. Пока же считала, что не глядя отданная монетка, возможно, приносит больше зла, чем пользы.

Утонув в этих размышлениях, я не заметила, как недалеко от Степкиного дома зашла в цветочный магазин и вышла оттуда с каким-то цветущим растением в горшке. Причем, когда я его покупала, у меня была какая-то идея, но выходя из магазина, я уже и забыла, какая именно, и разглядывала его, упакованного, с легким недоумением.

– Это мне? – Степка уставился на цветок с не меньшим изумлением.

– Если честно, еще не знаю. Если он тебе нравится, то тебе, – говорю, как всегда совершая привычный обмен своих заляпанных бот на фисташковые тапочки.

– А что мне с ним делать?

– Видимо, растить.

– А как?

– Для начала нужно прочитать, что за название, а потом посмотреть в Интернете, как надо за ним ухаживать... Во, вспомнила, почему я его купила! Так противно было на улице, а тут смотрю, в витрине цветет такая красота. Я подумала, что это все-таки радость, когда что-то такое красивое, будто не осень вовсе, а весна. И купила. У вас же нет цветов. Вот теперь будет. Если хочешь, конечно. Если тебе не лень за ним ухаживать.

– Смешная вы! – Степка смотрит на меня с удивлением и улыбкой, бандана на месте, из кухни запахи, видимо, лазанья где-то на подходе. – Ладно, прочитаю я, как за ним ухаживать. Пусть живет, и правда красивый. Смотрите, на бирке написано, что его зовут «декабрист», в скобочках «шлюмбергера», прикольно, правда?

– Ну вот, значит, у тебя в друзьях еще один бунтарь – декабрист.

– А почему «еще один», кто первый?

– Кто-кто... Ты, конечно.

– И против чего я бунтую, по-вашему?

– Да кто ж его знает, наверное, как все подростки, против всего. Или за какую-то идею, какую, пока не поняла еще...

– Вот же духовка какая у нас дурацкая, никак не приноровлюсь... Тут подгорает, там не греет, как надо. Готовы пробовать? – Вытаскивает противень из духовки, раскраснелся весь.

– Да, конечно... А я у мамы твоей сегодня была. Отвозила лекарства, у нее же бронхит.

Напрягся, но смотрит растерянно:

– Как бронхит? Я не знал. Я же вчера вечером с ней разговаривал, она ничего не сказала. Это опасно – бронхит?

– Да нет, не думаю, просто кашляет. Тетя Варя передала антибиотики, так что быстро поправится. Она, конечно, выйдет усталой, но там следят за ней, не беспокойся. – Я дожидаюсь, пока он отвернется, нет сил смотреть в его растерянные глаза. – Она рассказала мне все.

– Что все? – Его спина замирает.

– Про твоего отца, как он приехал, что тут было...

Молчание снова взорвало кухню напряжением. Как будто оборвалась струна. «Ну почему в его присутствии у меня все время ощущение, что я на минном поле? Неосторожный шаг... и случится необратимое. Это же невыносимо, так общаться! Постой. Вспомни Каменецкого. Просто быть, несмотря ни на что. Тебе только кажется, что если он

взорвался или недоволен, то это повод убраться отсюда, еще и обидевшись. Именно от этого возникает ощущение необратимости: от твоей неготовности быть с его чувствами, от того, что ты связываешь его злость и твою фантазию, что он хочет тебя отвергнуть. На самом деле его вспышка пройдет, и он заговорит, расскажет. Тебе надо просто не паниковать и не сбегать от его эмоций. Если кто-то злится, это еще не значит, что с тобой не хотят быть. Ты же так кичилась, что ты взрослая. Взрослая – выдерживай. Ты же осталась прошлый раз, и он сам все рассказал. Просто останься».

Я не заметила, когда он начал плакать, но когда он повернулся, в лице уже было больше ярости и какой-то жуткой муки, чем слез:

– Ненавижу вас всех!

– Нас? Кого нас, Степ? – Я замираю от страха и сострадания. От его боли у меня что-то скручивается в животе.

– Всех, кто к нам лезет! От этого всегда только хуже! Вам ничего нельзя рассказать, вы все лезете! Все вам надо выяснить! Во все вмешаться!

– Степа, подожди, я же хочу помочь. Я даже знаю как. У меня есть несколько...

– Да что вы знаете? Вы знаете, как после той училки он ее избил? А бабушка? Она тоже все хотела как лучше! И что? Где она теперь? Кто это может знать, как лучше? Кто?

– Подожди. Ну да, все было как-то не очень...

– Не очень?! Да вы знаете, каково слышать треск ее костей, когда он ломает ей руку? А звук его пинка, врезающегося в ее тело? А этот жуткий гул, с которым ее голова бьется о батарею? И НИЧЕГО НЕ МОЧЬ! Вы знаете, что такое не мочь даже встать на ноги, чтобы остановить это. Только кричать, звонить. Ждать эту чертову «скорую», которая ни хрена не скорая... И бояться, что она умрет, потому что она всегда молчит, даже когда он ее бьет, только шепчет: «Степку не трогай». Она всегда молчит! Не стонет, не кричит. Говорит потом, что будет только хуже. Но так, когда молчит, еще страшнее! Потому что он бьет ее и кажется, что она – не человек, а какой-то мешок с картошкой. **НО МОЯ МАМА – НЕ МЕШОК С КАРТОШКОЙ!!!**

– Степа, успокойся! – Я все-таки пытаюсь обнять его за плечи, хотя реву вместе с ним, от ужаса реву и боли, от безысходности и невозможности перенести его слова. Если уж слова так тяжелы, как же ему было жить-то с этим всем? Как с этим можно было жить? – Точнее, не успокойся, конечно, просто я не знаю, что сказать. Это так страшно. И я совсем не знаю, что сказать тебе, что сделать.

Он рыдает куда-то в себя, так горько, задыхаясь, забывая дышать. Я сажусь рядом и просто глажу его руку, вцепившуюся в подлокотник.

– Послушай меня. Я не знаю, что сделать с твоим прошлым. Его не изменить. Оно уже было. И оно было жутким. Невыносимым. Как один нескончаемый кошмар. Но мы можем попытаться что-то сделать, чтобы это не повторялось, понимаешь? Я об этом с Ингой и разговаривала. Я хочу найти хорошие центры, в которых оказывают помощь тем, кто живет в ситуации семейного насилия. Там есть юристы, психологи, социальные работники, наконец. Они нам подскажут хотя бы, с чего начинать. Ведь самое страшное, по-моему, Степ, что все это может повториться. И жить в ожидании этого и в невозможности что-то сделать, поменять – вот что ужасно.

Он не поднимает на меня глаз, резко разворачивается, подъезжает к раковине, смывает слезы с лица, вытирается полотенцем. И начинает молча нарезать и раскладывать лазанью.

А я просто жду. Как всегда, жду момента, когда снова можно будет что-то сказать. И сказанное не прозвучит так... так незначительно, будто всего этого не было, будто в этой кухне не кричал и не рыдал от боли ребенок.

Сегодня ей вспомнилась «Голубая комната» Пикассо. Не вспомнилась даже, пригрезилась... Сумрачное ноябрьское утро навяло. Палата, казалось, тонула в сумраке, который наверняка впечатлил бы его – когда-то юного любителя именно этого оттенка одиночества. Его голубой всегда всплывал в ее голове, когда она чувствовала тоску и такую глубокую печаль по чему-то, что ушло, а может, это тоска по так и не испытанному. По тому, что ушло без возврата, так и не явившись. Золото волос – островок света, того, что еще остался от ее женственности и от той беспечной девчонки, что запечатлена на стене зади нее. Затопленность голубой печалью. Та женщина на картине даже не замечает, как уже утонула в ней. Продолжает жить, будто ничего не случилось. Просто моется, поливает себя из своих голубых кувшинов. Ее уже тоже поглотило голубое одиночество и печаль. Она просто не замечает. Если заметить, то не выплывешь. Так его много. Везде-везде...

Уже не спалось. Под утреннюю возню соседки: то ли сейчас проснется, то ли просто ворочается во сне, она погружалась в голубые грезы. Где-то на границе между его картиной и своим прошлым. Беспечность – было ли это с ней? Слово она знала, а ощущение куда-то уплывало: то ли было так давно, то ли не было. Не вспомнить.

Она уже давно почти не помнит мамино лицо. На тех двух фотографиях, что у нее остались, его почти не видно. На одной – лишь профиль и прическа по моде, объемистое – не по хрупкой фигуре пальто. Из рукава – тонкое запястье, нежное, почти совсем девичье. Но руки, наверное, крепкие, потому что они держат девочку в пальтишке: смешная вязаная шапка на завязках, удивленный взгляд, и лишь один резиновый сапог на ножке, второй слетел, не заметили сразу.

Ей кажется, что она помнит эту шапку, это противное ощущение колючих завязок под самым подбородком, и голова все время чешется. Но сейчас она согласилась бы это испытать, лишь бы почувствовать, как кто-то берет тебя на руки. И этот кто-то – мама. Молодая, улыбающаяся, живая. Живая. Как бы ей могло житься, если бы мама была жива?! Косички, обеды, уборка, объятия на ночь. Трудно представить, что кто-то может делать это для тебя – день за днем, пока не вырастешь. Она так рано привыкла – все самой. Даже объятия. С затисканным игрушечным старым псом когда-то белого цвета. Обнимая его перед сном, она всегда говорила: говорила: «Что, устал, бродяга? Ну ничего, сейчас поспим, отдохнем».

Беспечность? Нет, этого она не помнит. Школа, уборка, магазины, в которых почти всегда ничего нет, да еще и за этим «ничего» нужно стоять столько времени. В память вьелся запах драповых спин, за которыми она ребенком провела столько времени в очередях из угрюмых и недовольных женщин. Помнит ощущение оттянутых рук. Если что-то купила – это радость, ну и что, что руки тянет и тяжело, зато отец не будет орать: «У всех есть в доме, что жрать, а у нас вечно нечего! Остальные же не ленятся в другой магазин сходить и отцу ужин приготовить, а тебе лишь бы развлекаться!»

«Развлекаться» – она часто слышала от него это слово, но так и не могла понять, что он имеет в виду. «Развлекаются, это когда что?» – иногда хотелось спросить его. Но она, конечно, не спрашивала. Меньше «отсвечиваешь» – меньше огребаешь. Просто сделай все, что нужно, так хоть лишний раз не пристанет.

С уборкой было непросто, но даже неподъемный ковер вытаскивать и выстукивать в снегу не так тяжело, как найти, из чего приготовить. К тому же, иногда сосед дядя Витя помогал. Он если видел, что ей сложно, всегда помогал. Например, повесить ковер на перекладину, чтобы выбить из него всю пыль. Без него, конечно, непросто было, роста не хватало, до перекладины не достать, подпрыгивать приходилось, а ковер-то тяжелый и пыльный, фу. Да, стирку она еще не любила. Вообще не могла эти пододеяльники выжимать, сил не хватало. Как-то даже заболела сильно после такой стирки, осень уже была, холодно, а она вся взмокла, пока белье вешала.

Тогда вот в больнице лежала с воспалением легких. Долго лежала. Зато отдохнула немного. Хотя тоже несладко было: в жару почти неделю, уж и не знали, что ей еще колоть, говорят, все маму звала. Он не пришел. Зато к ней учительница пришла, принесла ей яблоко и шоколадку. Яблоко до сих пор помнит: красное такое с желтым бочком, и пахло оно осенью. Шоколадку она не ела, просто открывала тумбочку и смотрела на нее, уж больно красивая была на ней обертка.

Пока она лежала в больнице, кто-то ему на службе сказал, что постельное белье можно в прачечную сдавать. Сразу легче стало: только бирочки к каждой простыне, наволочке и пододеяльнику пришить, сложить, дотащить до прачечной, а потом дотащить обратно. С ужином сначала совсем сложно было: она не знала, из чего готовить и где можно купить хоть что-то, из чего можно готовить. Ничего почти не было, даже по талонам. Хоть суп из топора вари, как в сказке.

После смерти мамы в доме были две какие-то женщины, одну звали вроде бы Лариса. С ней все время сюсюкала, но готовить не умела и вообще сама была еще как ребенок. Потом была Галина Олеговна. Строгая, жестокая даже. Она всегда одобрительно кивала, когда отец на нее, родную дочку, орал, обзывался и грозил выпороть. Вот при ней он это и сделал в первый раз. Раньше так, треснет по затылку и все.

А тут она пришла не вовремя, что ли, они ссорились. Олеговна что-то шипела, он вопил, как всегда, мат-перемат на всю кухню, она в ванную шла, руки мыть после улицы. Он и сорвался, вскочил, штаны свои какие-то нашел, ремень вытащил и ударил ее. А потом еще и еще. По голове, по плечам. Куда попало. Страшно было только в первый момент. А потом все равно. Ее как будто не стало. Он, конечно, очнулся потом, извинялся, даже обнимал ее, наверное, впервые за все время, сколько она себя помнила. Даже Олеговну эту выгнал. Но с тех пор только она и была на хозяйстве. А лет-то ей было... восемь, что ли, или девять. В начальной школе еще училась. Маленькая совсем, если вдуматься.

Потом стал бить все чаще. За тройки – у нее все математика никак не получалась, если подгорело что-то, в

магазине не удалось купить ничего мясного, убрала недостаточно чисто. Если без ремня, то не больно. И если трезвый, то бьет коротко, ну звезданет один раз и все. Вот если напился сильно и озлобел, тогда да... Тогда только бежать, хорошо, если сосед дядя Витя работал не в ночную смену. У него отсидеться можно было. Он, кстати, и научил ее многому: борщ варить и котлеты крутить. Если мяса удавалось добыть да хлеба побольше подмешать, то получался знатный фарш, и котлет тогда много выходило. Он один жил, дядя Витя. Почему-то у него не было жены. Добрый был, но отца боялся. Да кто его не боялся-то? Весь подъезд по струнке ходил. Он же в следственных органах работал.

Беспечность. Нет, она не помнит такого. Наверное, это было не с ней, с кем-то другим.

Москва тогда показалась ей раем. Как же она хотела поступить в университет и жить в общежитии, кто бы знал! Но он тогда дал деньги на дорогу с условием, что она будет жить у тетки. «Что ты думаешь, уехала в Москву и давай развлекаться?» Развлекаться, видимо, было большим грехом, таким, что даже представить ей было трудно. И тут он не прогадал, знал, какие условия ставить, – жизнь у тетки развлечением никак было не назвать. Бояться у нее уже не было сил. Да тетка и не била ее никогда. Делать приходилось то же, что и дома, – убирать, покупать продукты, стирать, готовить. Только все уже гораздо легче: она и постарше, и в Москве с продуктами полегче. В первый раз зайдя в большой гастроном, она заплакала. Если бы столько всего было в их магазинах, пока она росла, ей не надо было бы так бояться, что нечем будет накормить отца. Здесь же столько всего, готовь что хочешь.

Ада Валерьевна. Тетя Ада – звучало бы слишком прямолинейно, поэтому она звала ее по имени-отчеству. Завкафедрой на юридическом. Нет чувств. Нет компромиссов. Нет семьи, детей и человеческих желаний. Только задачи, которые нужно решить. Только цели, которые надо поставить. Непреклонна, неутомима, негибаема. Зато предсказуема. Все ее требования понятны, отношение – прозрачно, реакции – логичны. Она, Инга, – неразумная сирота-провинциалка. Учится на факультете имбецилов. Ни к чему не годна, разве что к домашней работе, которой заниматься все равно надо, а уборщице-хозяйке платить дорого.

Она делает это все не потому, что жалеет «сиротку» или помогает брату, а потому, что «если где-то и учиться в этой стране, то в Москве и в МГУ». Хотя журналистика – это не профессия. Москва – шанс для любого провинциала, в том числе для ее не очень умной племянницы. Та может хотя бы попробовать чего-нибудь добиться.

Но как только тем весенним днем она сказала: «Я выхожу замуж», – Ада Валерьевна ответила, не оборачиваясь: «У тебя двадцать минут, чтобы собрать свои вещи и покинуть мою жилплощадь». С этой секунды Инга перестала для нее существовать.

И все равно ей никогда не было так тяжело, как в детстве, и никогда не было так страшно, как тогда. Пока не родился Степка. Вот тогда она поняла, что такое настоящий страх. Уставать или бояться за свою жизнь стало казаться чем-то незначительным и привычным в сравнении с тем ужасом, что охватывал ее при мысли о том, какую боль может переживать ее сын, в какой опасности он может находиться, если ярость его отца опять «выйдет из берегов».

Что-то непереносимое и острое она ощущала внутри при мысли о том, что он испытает хотя бы малую часть ее одиночества, страха и беспомощности перед жизнью. Долгое время ей казалось, что ее забота и любовь могут оградить его от этого жестокого и непредсказуемого мира, что пока она рядом, с ним ничего плохого не может случиться. Она все возьмет на себя. Все ужасы и несправедливости мира достанутся ей, не сыну – ей. И тогда он будет спасен.

Изучение вопроса о том, как обстоят дела с домашним насилием в России, не заняло у меня много времени, но впечатлило. Страна, как по многим другим пунктам, наравне с теми малоразвитыми государствами Африки и Ближнего Востока, в которых не приняты специальные законы против домашнего насилия. Проблемы на государственном уровне как будто бы не существует. Законодательство не занимается предупреждением или профилактикой насилия, лишь подключается при работе с последствиями. Как многими острыми проблемами в России, вопросами семейного насилия занимаются в основном энтузиасты при незначительной государственной поддержке.

Как я и предполагала, даже при отсутствии надлежащих законов помочь Инге и Степке юридически оказывалось проще, чем психологически. Перестать считать насилие нормой – вот что трудно будет преодолеть. В этой стране такие, как я, кто ужасается насилию, согласно статистике, в удручающем меньшинстве. Значительно большая часть считает насилие нормой, на подсознательном уровне, возможно, даже чем-то выгодным, потому что каждая вспышка насилия заканчивается раскаянием, сильной виной и «улучшением поведения» со стороны насильника. Боль, унижения и страдания являются для жертв естественной средой обитания.

Надежда – то позитивное, на что они якобы опираются, – один из их самых серьезных врагов. Надежда на то, что насилие больше не повторится, – их птица Феникс, которая сгорает и снова возрождается в горниле драк, битв, ссор и примирений. Еще их удерживает иллюзия – странная, горькая и опасная: что если детей не бьют, то они вне этого, не страдают, не боятся, не испытывают боли. Хотя вероятность того, что, вырастая, такие дети воспроизведут ситуацию насилия, очень высока.

Масштаб проблемы на государственном уровне придавил меня, но запылившиеся за ненадобностью журналистские навыки, умения, способности и наличие центров, людей, специалистов – воодушевили. День прошел незаметно, муж снова остался без ужина, но к концу дня у меня была более-менее ясная картина. Первые шаги предприняты, центры обзвонены, контакты лучших специалистов ждали своего часа в моем ежедневнике. Я стала понимать Степку – любое действие так эффективно вынимает тебя из состояния беспомощности: оно невыносимо, пребывать в нем так душно, безнадежно и страшно, что иметь возможность делать хоть что-то кажется просто спасительным.

Тем не менее, несмотря на удовлетворение от сделанного, заснуть все равно никак не удавалось, казалось, я забыла или не сделала что-то важное. Это не давало покоя, саднило, заставляло ворочаться. Я предпринимала бесплодные попытки уговорить себя подумать об этом завтра.

Утро встретило меня головной болью, кофе не бодрил, серость за окном как-то особенно угнетала. Поэтический настрой – подумать о многочисленных оттенках серого, который в былые времена помогал мне справляться с долгой российской осенью, – никак не желал рождаться. Отчаянно хотелось снега. Может, потому, что снег быстро видоизменяет на самом деле давно опостылевший серый цвет, а может, потому, что хотелось ощутить подъем, желание выйти на улицу. Вчерашнее воодушевление куда-то улетучилось, ощущение, что все возможно, стоит только начать, растворилось в каком-то смутном беспокойстве.

Ингин номер не отвечал, решила, что перезвоню позже, вдруг спит еще. Что-то мешало мне позвонить Степке. Как будто стыдно было являться ему в таком разобранном состоянии. Хотелось быть для него опорой, вселять оптимизм, веру в лучшее и справедливое устройство мира. В это тусклое утро ничего похожего на эти ощущения у меня в организме не обнаруживалось, и я, не знаю для чего, набрала Варькин номер.

– Привет, не отвлекаю?

– Нет, я дома. – Варькин голос звучал тихо и как-то непривычно для нее, как будто растерянно.

– Не знаешь, как Инга? Она чего-то трубку не берет.

– Ну так, не очень, у нее осложнение началось, температура высокая, антибиотики не помогают, пока не знаем, в чем дело. Сегодня УЗИ будут делать, кровь сдаст, посмотрим. Очевидно, что воспаление, а где, пока не очень понятно.

– Ей что-нибудь нужно? Может, прийти или принести что-нибудь?

– Да нет, пока не надо, тебя к ней все равно не пустят сегодня, ночью в реанимацию перевели, тахикардия сильная, да и вообще нестабильное состояние.

– А с тобой что? Не выспалась? Устала?

– Да нет... Нормально вроде бы. Знаешь, Алик объявился. Виделись с ним вчера.

– Надо же, Алик! И как он?

– Раздумывает, не вернуться ли ему в Россию. Такой стал... даже не знаю. Серьезный, солидный даже, но какой-то надломленный, что ли. То ли пожалеть его хочется, то ли восхититься. О судьбах страны рассуждает так интересно и здраво, мы-то, как ты понимаешь, о стране не думаем. У нас эзофагиты, колиты, циррозы, гастриты – все очень конкретно и приземленно. А он так глобально: об исторических источниках и перспективах. Стал там каким-то признанным специалистом по российской политической социологии, а в глазах тоска.

– Женат? Дети?

– Да не похоже, хотя я не спросила.

– Так, может, тоска-то по тебе, не по судьбам России?

– Кто ж его разберет. Он о простом, человеческом как будто теперь и разговаривать не умеет. Даже неудобно и

разговор заводить, все кажется таким незначительным в сравнении с судьбами России.

– Да брось, уж тебе-то... У вас же самая смыслообразующая работа. Что может быть важнее спасения отдельно взятой человеческой жизни?

– Это ты брось! Толку-то? Ну спасаем, а они снова за свое – пропивают свою печень, обжираются, об ограничениях даже можно не начинать объяснять, все равно без толку. Если есть все подряд, пить что попало, не соблюдать элементарных правил гигиены, ничего не поможет и не спасет. Доставляют таких к нам, а мы только руками разводим: ну и где же ты был? Зачем такую боль терпел? Почему так себя запустил? И что теперь мы можем? Вырезать тебе разве что все к чертовой матери...

Алька прав: мы страна со врожденным механизмом страдания. Мучиться и мужественно преодолевать мучения – любимая русская забава. Склонность к саморазрушению уже давно не считается выдумкой психологов, стоит только посмотреть статистику: у нас самая низкая продолжительность жизни на континенте. Прежде всего у мужчин, те особенно усердствуют: все прокурено и пропито, особенно на периферии, столичные меньше пьют, ну так у этих стресс и малая подвижность – результат тот же.

Знаешь, с этой точки зрения наша профессия уже не кажется столь воодушевляющей. И даже не буду начинать тебе рассказывать, что творится в нашей медицине. Меньше знаешь – крепче спишь. Пошпют тебя на какую-нибудь зарубежную конференцию, возвращаешься с еще более укрепившимся ясным пониманием, как оно все должно быть, приходишь в свою родную больницу и... понимаешь, почему и врачи так любят выпить. На больных жалуемся, а сами... Ладно, короче, если хочешь о судьбах России печалиться, то это тебе к Алику, сброшу тебе его новый номер, если хочешь. Забавный он, весь лысый уже почти, смешной. В любом случае приятно было увидеться. Думаю, что и тебе он будет рад.

– Да, Варь, спасибо, с удовольствием с ним встречусь. Я же в отпуске. Хоть развеет мою грусть-тоску.

– О, это уж вряд ли. Ну давай, рада была тебя слышать, пока.

– Да, пока. Если будут какие-то новости об Инге, ты дай мне знать, хорошо? А то от них не дождешься. Инга же сама не позвонит, не расскажет.

С Аликом мы договорились встретиться днем в кафе на Пушкинской, а пока я снова засела за компьютер, почитать, что есть в Интернете о психологии домашнего насилия. Так легко представить, что всего этого не существует, когда живешь в нормальных условиях. Я считала собственную жизнь нормальной, хорошей, стабильной, «как у всех» – так мне казалось. Мне трудно представить, что такие, как я, – в явном меньшинстве, это если под насилием понимать только физическое и сексуальное насилие, а уж если иметь в виду и эмоциональное, то это просто «сплошь и рядом», как говорила моя бабушка. Мне, выросшей в интеллигентной семье, и то приходилось почти ежедневно встречаться с эмоциональным насилием, например в госучреждениях – от детского сада до паспортного стола. Что уж говорить о тех, для кого унижения или подзатыльники – норма воспитательного процесса.

Я уже приготовилась волевым усилием оторвать себя от экрана и начать собираться, чтобы не опоздать на встречу с Аликом, как мобильник оторвал меня от размышлений внезапной трелью:

– А у нас бабушка умерла, мама сказала вам позвонить.

Я в полной растерянности уставилась на телефон, номер был Ленкин.

– А сама она где? – спросила я, имя ее старшего сына совершенно вылетело у меня из головы. «Виталик, Володя, Валера...» – перебирала я в безуспешной попытке вспомнить.

– Ушла и сказала вам передать, чтобы вы в больницу сами пошли сегодня.

– В какую больницу? Лена что, в больнице?

– Да нет, она пошла что-то оформлять. К тете Инге в больницу вам самой надо сходить, она не сможет.

– А к ней сегодня не пустят. Но да, я поняла. А как ты-то сам? Как мама? Когда бабушка умерла?

– Ночью. Мама какая-то странная, на себя не похожа. Мы тоже не знаем, как теперь.

– А что с ней? Как тебя зовут, кстати, извини, не могу вспомнить...

– Виталик я. Да не знаю, что с ней. Тихая какая-то, нас как будто не замечает, Вовка даже истерику устроил, а она – ничего, просто дала ему, что просил, и все. Такого с ней не бывало раньше, обязательно сначала нотация, а потом еще и не даст.

– Хорошо, Виталик, я все поняла, мне сейчас бежать нужно, я ей потом сама позвоню. Скорее всего она просто переживает, все-таки это ее мама умерла. Это пройдет, не волнуйтесь. Грустно, конечно, когда бабушка умирает. Мне очень жаль.

– Да нам не то чтобы грустно, мы просто не понимаем, как теперь что будет. Бабушка же всегда говорила: «Без меня вам конец. Вот умру, наплачетесь еще». А мы не плачем и не понимаем, как будет, если придет этот «конец». И Вовка боится, что его в тюрьму посадят, потому что он бабушку убил, она все время говорила, что мы ее «сведем в могилу», особенно Вовка, потому что он самый неутомимый. А он вчера вечером своей машинкой расколотил на кухне что-то, говорил, что просто испытывал машинку-трансформер-космолет.

– Ну что ты, передай ему, что никто его в тюрьму не посадит и что, наверное, вчера бабушка расстроилась, но умерла она не от этого, а от своих болезней. Она же так давно болела.

– Да, а мама сказала, что теперь «она – следующая», и теперь Вовка боится играть, говорит, что и мама умрет, если он еще что-то разобьет, и тогда его из тюрьмы вообще не выпустят, и он там состарится и тоже умрет. А Игореха еще и подначивает, говорит, что его там еще и мучить сначала будут, и только потом он умрет.

– Это вряд ли, ваша мама крепкая, я ее давно знаю. Пусть Вовка играет себе на здоровье, только аккуратно пусть испытания проводит, разбивать что-то ценное все же не стоит. Ты извини, мне пора бежать.

К Алику я опаздывала и потому, когда вбежала в кафе, была убеждена, что он уже там и я сразу его увижу. Поэтому растерялась, когда, пробежав взглядом по лицам, не обнаружила его за столиками. Только в самом центре зала сидел незнакомый мужчина и махал мне рукой.

– Тебя совсем не узнать, Алик, ты так изменился. – Мне понадобилось какое-то время, чтобы сопоставить образ нашего милого задохлика и этого весьма располневшего, лысого, но вполне импозантного мужчины.

– А ты все та же. Разве что цвет волос.

Мы обнимались, а я думала с досадой о том, что только когда видишь, как постарели твои однокурсники, вспоминаешь, сколько на самом деле тебе лет. Как грустно, если он думает, что время меня не пощадило, просто из вежливости делая комплименты.

– Цвет волос с тех времен, как мы с тобой виделись в последний раз, я думаю, менялся чаще, чем у модницы перчатки. А ты так по-нездешнему выглядишь... даже не знаю почему. Наверное, Париж наложил на тебя неизгладимый отпечаток. Выглядишь весьма импозантно.

– Да брось. Я все тот же. И в Париже бываю не так часто. Последнее время жил у родителей в Страсбурге. Мама умерла два года назад. После ее смерти отец сильно сдал, тоже не в лучшей форме сейчас. Пришлось оставить его на неделю, приехал разобраться с квартирой и дачей. Но вот думаю, что, может, не продавать их, переехать в Москву. Здесь столько всего происходит. Такой живой город. Чувствуешь себя здесь живым, вовлеченным в историю, которая творится прямо у тебя на глазах.

– Да уж, а для меня «Страсбург» – звучит как музыка, кажется, что вся жизнь где-то там, течет по руслам великих европейских рек. А у тебя просто ностальгия. Зайди в паспортный стол, к нотариусу, в ЖЭК, пока будешь заниматься своей недвижимостью, и через неделю снова полюбишь свою Европу и с поволокой светлой печали и меланхолии с легкой горчинкой вновь будешь разговаривать о судьбах России, сидя на красивой террасе с видом на Рейн, потягивая «Рислинг» или «Бургундское».

– В Москве тоже можно найти хорошее вино, да и красивую террасу. Разве же в этом дело?

– А в чем? Варька сказала, что ты там признанный специалист по России, а здесь ты кем будешь?

– Все равно кем, зато я буду именно там, где все это происходит, я не буду читать об этом в сводках, узнавать в новостях или дипломатических сплетнях, не буду делать никому не нужные глубокомысленные прогнозы. Буду в гуще реальных событий.

– Каких событий? Ты что же, в политику собрался? Кто тебя туда пустит? И кстати, где твоя семья, жена, дети?

– Я не женился, и детей у меня нет. – Его смущенно-потерянный взгляд легко выдает мне правду.

– Поняла, Варьку еще любишь. Ну еще бы. Я бы ее тоже любила, будь я мужиком. Но у нее муж и дети, помнишь? Так что ты, похоже, шанс-то свой упустил, – ерничаю я, впрочем, по-доброму, как мне кажется, проявляя искреннее сострадание. – Извини, забыла отключить звук. – Звонок моего мобильного, бодро возвещающего о Ленкином вызове, прервал наш разговор. – Да, я поняла про Ингу, твой сын мне уже позвонил. Я очень сожалею, Лен. Как о чем? Твоя мама... Лен, ты точно не в себе. Инга в реанимации, я с Варей разговаривала, она обещала меня держать в курсе, к ней ехать сегодня не надо. Ты сама-то как? Может, подъехать к тебе? Надо ли помочь чем-то? Я могу приехать. Сейчас с Аликом поболтаю еще и могу подъехать. Помнишь Алика? Да, приехал. Передам.

– Это та самая Ленка? Волынцева? Что с ее мамой?

– Да, та самая. Мама ее после инсульта долго лежала и вот сегодня ночью умерла. А она вместо того, чтобы о себе и детях подумать, об Инге печется. Неисправимая, надо будет к ней заехать потом. Точно с ней что-то не так. Да и детей своих напугала, балбеска.

– А Инга – та самая русалка, из наших?

– Почему русалка?

– Ну так у нас пацаны ее между собой звали. Наверное, за длинные русые волосы и молчаливость. Тихая была. Незаметная, но красивая по-своему. А с ней что?

Мне почему-то удивительно. Варька говорила об Алике так, будто он способен витать только в области высоких материй, живет теориями и рассуждает исключительно в рамках глобальных стратегий и концепций. Таким он нам всем и запомнился. Казалось, что даже в нашей весьма узкой тусовке он не знал всех по именам, а чтобы помнить фамилии и клички спустя столько лет... Наш ли это Алик, не подменили нам его на берегах Сены или Рейна? А может быть, только при Варьке он отчаянно плупел и, чтобы скомпенсировать сей неприятный факт, начинал упоенно умничать?

– С ней что? С ней обыкновенная жизненная драма. Или необыкновенная, как сказать... У нее муж или бывший муж, бывший уголовник, а может, и настоящий, кто ж его знает, который ее периодически избивает, и сын-инвалид. После очередных побоев она опять в больнице и в данный момент в реанимации, потому что какое-то осложнение началось, а какое – понять не могут. А мы за Степкой, ее сыном, присматриваем. Хотя кто за кем – еще большой вопрос. Удивительный ребенок. Слишком взрослый для своих тринадцати лет.

– А с ним что? Из-за чего инвалидность?

– Ноги. Мышечная атрофия. Не ходит.

– Да, это печально. Атрофия не лечится, насколько я понимаю.

– Не лечится. Но я хочу помочь Инге как-то обезопасить себя от насилия в дальнейшем, и Степку тоже. Они, правда, оба сопротивляются, не верят в такую возможность. Но я же понимаю, что это психологическое. Им трудно представить, что можно жить без угрозы, не подвергаясь насилию. Хотя парень, по-моему, на многое готов, лишь бы больше не быть свидетелем этого ада. Просто не очень верит в то, что им кто-то может помочь: горький опыт за плечами.

– А в чем сложность?

– «Двушка» в Люберцах, пятый этаж без лифта, папаша-уголовник периодически навевается качать права, угрожает, избивает. Мальчишка – колясочник, нужен грузовой лифт и правильный съезд.

– Да, с папашей разобраться будет легче, вот тебе телефон моего двоюродного брата, он юрист, у них хорошее агентство, ты ему все расскажешь, ну или Инга, когда поправится, он все сделает. Я ему позвоню, предупрежу. С квартирой сложнее – у нас, по-моему, плохо с удобствами для инвалидов колясок, не уверен, что домов с правильным съездом для инвалидов много. Но можно узнать. Врачей знакомых, кроме Вареньки, у меня нет, а она, думаю, подключила всех, кого могла.

– Спасибо тебе огромное. С врачами вроде бы все неплохо, вот разберутся с ее осложнением, и будет порядок. У Степки хороший врач, я с ним виделась, чудесный мужик, судя по всему.

«Мне не больно. Я потерплю». Она даже не замечала, что в ее привычной мантре заложен парадокс. И только когда Смольников почти грубо отчитал ее, она поняла, что этот парадокс – привычный способ ничего не чувствовать.

– Нам не надо, чтобы ты терпела, голубушка. Нам надо знать, как и где тебе больно, чтобы мы могли тебе помочь! Скажи, где именно тебе больно, какого рода эта боль и как сильно болит.

Ей казалось, что начать жаловаться значит навлечь на себя гнев этого великана с умными и строгими глазами. Что лучший способ унять его раздражение – это улыбаться и продолжать произносить привычное: «Это ничего, я потерплю, не страшно». Хотя где-то в глубине души кто-то совсем чужой хотел бы кричать: «Мне везде больно, ВЕЗДЕ! И мне так давно больно и страшно, что хочется умереть. УМЕРЕТЬ – вы слышите? Но я не могу себе позволить даже этого. Я должна как-то выжить. У меня же сын. Вы знаете, что такое бояться за сына, который не может ходить?! Мне не больно. Мне – НЕПЕРЕНОСИМО!» Этот кто-то разрывал ей внутренности своим криком. Она боялась дать ему право голоса. Своей болью и ужасом он точно разорвал бы ее на части. Она много лет старательно глушила его как могла.

Когда Смольников в следующий раз нажал ей на живот, она просто потеряла сознание. Он чертыхнулся и крикнул, чтобы готовили операционную. До того как дали наркоз, она очнулась и вдруг ясно ощутила, насколько ей хочется жить. Не ради Степки, ради самой себя. Остро, горько, до слез. Она бы даже, наверное, успела расплакаться, но маска, наложенная на лицо, унесла ее далеко от ярких ламп операционной.

«Двушка» в Марьиной Роще досталась Ленке от мужа, который поспешно сбежал после рождения третьего сына. Трудно сказать, от чего именно лопнуло его терпение: ураганоподобная Ленка, трое неугомонных мальчишек, лежащая, но совершенно несносная теща – и все это на сорока пяти квадратных метрах и шестиметровой кухне. Возможно, от всего вместе. Лично мне бы и одной Ленки хватило. По слухам, он переехал на съемную квартиру, не стал ни делить имущество, ни претендовать хоть на что-нибудь. Просто пропал, начисто забыв о своих отцовских обязанностях, закрыв свою прежнюю жизнь, как старую тетрадь. Ленка пробовала его искать, но то ли быстро смирилась с его бегством, то ли послушалась мать, без конца твердившую: «Я же говорила – кобель и нечестивец, таким нельзя доверять. Весь в твоего папашу – тюфяк и бабник. Одно слово – валторна!» И сколько Ленка ни уверяла ее: «Он просто ученый, мама, при чем тут валторна? Он же не музыкант!», она все равно произносила «валторна» так, будто выплевывала через эти «о» свое презрение ко всему мужскому роду. А может быть, просто от перенесенного инсульта у нее все помещалось в голове.

Мне Ленкин муж запомнился человеком тихим, послушным, неконфликтным, уступающим Ленке во всем. Что, возможно, было очень даже разумно, потому что противостоять ее натиску было так же бессмысленно, как пытаться усмирить океанские волны.

Ленкина мама, которая переехала из Саранска в Москву сразу же, как только молодожены расписались, помнилась мне женщиной крупной, заполняющей собой все пространство, где бы она ни появлялась. Ее стремление выдавать окружающим рекомендации по любому вопросу, вне зависимости от того, нуждались ли они в них или нет, было неодолимым. Оно накатывало, и его не могли остановить ни ваши попытки донести свой взгляд на проблему, ни молчаливое слушание и попытки благоговейно внимать, ни бурное и благодарное согласие. Полагаю, что даже ваше физическое отсутствие не останавливало поток ее наставлений, поскольку часто, разговаривая с Ленкой по телефону, я слышала громогласное «И передай ей, что...», далее следовал перечень того, что мне следует немедленно предпринять.

Сейчас эта малогабаритная квартира была больше похожа на склад безделушек после урагана. Впрочем, в большой комнате, еще пахнущей лекарствами, был идеальный порядок. Очевидно, что мама была требовательна к чистоте, которая безукоризненно поддерживалась в ее пространстве. Маленькая же комната, кухня, прихожая были завалены вещами, носками, старыми велосипедами, игрушками, яркими безделушками, густо обросшими пылью. Стало понятно, что маленькому, шустрому обладателю чудесных ямочек на щеках было невозможно не то чтобы поиграть, даже двинуть своим детским плечиком без риска уронить или расколоть что-нибудь из бесчисленного разнообразия экспонатов интерьерного китча разных эпох, включая «хрустальный» период семидесятых.

Ленка, несмотря на мой твердый отказ поужинать, готовила «богатые кальцием» сырники, которые почему-то отказывались нормально жариться и заполняли странным чадом всю кухню. Вовка крутился под ногами, натужным ревом демонстрируя, как именно должны проходить настоящие гонки грузовых машин, пес, неизвестной мне породы, громким лаем сопровождал особенно резкие развороты. Из комнаты доносились вопли монстров из компьютерной игрушки и крики братьев, борющихся за воделенный компьютер. Все это вкупе с непрерывной Ленкиной речью составляло слегка сюрреалистический звуковой фон, в котором желание оглохнуть казалось наиболее спасительным.

– Вов, для твоих грузовиков здесь не мало ли места? Может быть, тебе пойти в бабушкину комнату, там их можно было бы испытывать на длинных трассах? – в конце концов не выдерживаю я. Красноречивый возмущенный Ленкин взгляд сопровождается воодушевленным Вовкиным возгласом:

– Нет, в бабушкиной комнате нам нельзя! Бабушка любит, когда тихо.

– Но...

– Да, нельзя! – говорит Ленка, не отвлекаясь от чающих сырников. – Играй здесь.

– Но почему, Лен? Ведь комната же теперь свободна. Он никому не мешает. Ты что же, из маминой комнаты мавзолеей сделаешь?

– Нет, пусть здесь играет, здесь он на виду.

Ленка кладет стопку подгорелых сырников в центр стола и отдает команду, извлекая из недр старых кухонных шкафов разнокалиберные кружки в советский цветочек:

– Всем марш на кухню – питаться!

Призыв почему-то не производит должного воздействия на домочадцев. Только пес радостно подруливает к своей миске, в которую Ленка наваливает пару сырников, слегка размятых вилкой. Несмотря на то что чай уже разлит по кружкам, мне и всем остальным выдано блюдо для сырников, креманки и разложенное в них клубничное варенье заполнили все пространство на столе, желающих начать трапезу не прибавляется.

– Всем есть, я сказала!

И снова никакой реакции. Вопли за стенкой и гонки по кухне даже не собираются входить в заключительную стадию. Риторический возглас: «Сколько мне еще повторять?!» и серия щедро розданных всем, за исключением меня, подзатыльников наводят порядок: семейный ужин начинается. Для меня остается загадкой, как мы (трое детей, двое взрослых и одна немаленькая собака) умудряемся разместиться на кухне, где даже одной хозяйке тесно, но зато хотя бы ненадолго воцаряется что-то наподобие тишины, только слышно, как чем-то воодушевленный пес бьет хвостом по линолеуму.

– Опять клубничное, я не хочу-у-у, – начинает ныть Вовка, пытаясь отставить свою креманку с вареньем.

– Ешь, я сказала, никаких «не хочу»! – Ленка сурово двигает ее назад.

– Я тогда буду без варенья, – снова ноет Вовка, – лучше просто с сахаром.

– Вот еще! Сахар – вредно! А в варенье – витамины! Ешь с вареньем и не капризничай! Постыдился бы, у нас гости!

– Да ладно тебе, – пытаюсь вступить я, – какие в этом варенье витамины, Лен, они же погибли смертью храбрых еще прошлым летом.

Вовка начинает хихикать и тут же снова получает подзатыльник.

– А сама-то чего не ешь? – спрашивает Ленка. – Давай ешь, время ужина.

– Да я не хочу, я же с Аликом в кафешке встречалась, там и поели.

– Это когда было, а сейчас уже ужин, к тому же сырники – это полезно. Ешь давай.

Я пробую черный горелый кружлячок, он оказывается кислым внутри, со странным привкусом. Я начинаю понимать Степкину решительность, с которой он отклонял любые попытки кормить его Ленкиной стряпней.

– Ты не пробовала, Лен, добавлять в них немного ванилина и соды, а то, похоже, творог слегка кисловат?

– Конечно, кисловат, творог я еще дней пять назад купила, он скис, я поэтому сырники и сделала.

– А почему тогда ты пять дней назад не сделала из него сырники, пока он еще не был таким кислым?

– Почему-почему, потому что пять дней назад мы ели просто творог, а теперь едим сырники.

Я понимаю, что кулинарные темы с Ленкой бесполезно развивать, и решаю сменить предмет разговора:

– Так что случилось ночью с мамой, что стало причиной смерти, что сказали врачи?

– Повторный инсульт, быстрый и обширный. Хоронить будем послезавтра. Завтра с утра приезжают дядя Витя, мамин брат из Саранска, с женой и детьми и еще две мамы бывшие подруги.

– Тесновато у вас здесь будет. Они же наверняка у вас останутся.

– Ну да, мы с мальчишками на кухне ляжем. А их в маленькую комнату положим.

– Постой, а в большой кто, мамы подруги?

– Нет, в маминной комнате никто не будет спать.

– Почему? Ты до похорон не хочешь...

– Нет, она останется как была.

– Лен, ну это просто сумасшествие какое-то! Там метров восемнадцать, наверное, а здесь вы не уместитесь, если даже под столом ляжете! Я все понимаю, это твоя мама, ты переживаешь, но у тебя же дети. Нельзя же лишать их элементарных удобств!

– Мама просто боится, что бабушка ругаться будет, – подает голос средний, Игорек, с воодушевлением размахивая ногами и с явным удовольствием попинывая ими старшего.

– Сядь прямо! Знаток тут нашелся! – огрызается Ленка, привычным взмахом руки отведывая подзатыльник.

– Нет, подождите, бабушка же умерла, как она будет ругаться? – Мне становится не по себе.

– А она нам всегда говорила: «Вы что думаете, я схокну и вы все освободитесь от меня? Нееееет! Я и на том свете все буду знать и за вами присматривать!» – Довольно достоверно скопировал бабушкины интонации старший Виталик.

– Тааак, хватит, – я решительно встаю, – поднимайся!

Я подхожу к Ленке с такой решительностью, которую замечаю в себе лишь в самых экстремальных ситуациях. Она угрюмо повинуется.

– Ну-ка пойдем, – я беру ее за плечо, вывожу из кухни и подвожу к дверям закрытой комнаты, – открывай дверь!

Ленка замирает, и ее рука никак не может подняться на нужную высоту, чтобы прикоснуться к ручке. Ее начинает трясти, на глаза наплывают крупные слезы, сдавленный шепот «я не могу» завершает жест падающей в изнеможении руки. Я впервые вижу ее такой. Слова «я не могу» не из ее словаря, неподвижность, растерянность и страх, сковывающие ее обычно столь энергичное тело, и меня вводят в ступор. Но сопящая возня сзади и три торчащие из-за кухонного угла белобрысые головы придают мне решимости.

– Ты можешь. Мы сделаем это вместе. Это комната твоей мамы. Но ее уже нет. Она умерла. И теперь комната свободна. – Говоря это как можно более спокойно и уверенно, я беру Ленкину безвольную руку и кладу ее на ручку. – Открывай! Тебе это ничем не грозит. Я рядом. Мы сделаем это вместе.

Дверь поддается и открывается. Запах лекарств перешибает запах подгоревших сырников, и нам открывается большое, чисто убранное пространство.

– Ура! Нам можно!!! – С гиканьем мальчишки врываются в комнату, младший сразу же запрыгивает на диван и начинает на нем скакать.

– Мне можно прыгать, и пружины не лопнут! – верещит он, воодушевленно проверяя крепость диванных пружин своим невеликим весом, через минуту к нему подключаются оба брата. Теперь уже старому дивану предстоит более серьезная проверка на прочность. Пес сопровождает эту вакханалию радостным лаем.

Ленка несколько мгновений стоит ошарашенная всем происходящим, возможно, убеждаясь в том, что небеса не разверзнутся и не последует великая кара с небес, потом разворачивается ко мне, утыкается в грудь, вцепляется в мои предплечья и начинает плакать. Горько, как ребенок, всхлипывая и причитая: «Я не знаю, как жить без нее! Я не смогу! Как мне жить без нее?» Я глажу ее по сожженным плохим перманентом волосам и так же тихо, под восторженное мальчишечье гиканье и радостный лай, причитаю: «Бедная моя. Ты сможешь. Сможешь. Поплачешь, похоронишь и сможешь. Ты все умеешь без нее. Тебе только кажется, что она все могла, а ты нет. Ты же взрослая женщина. Ты родила троих детей, ты их кормила, одевала, учила. Не она – ты. Ты сможешь и дальше. У тебя будет

еще много чего хорошего. Мальчишки будут расти. Ты еще и замуж можешь выйти. Ты ж еще смотри, какая молодая, крепкая, сильная. Обязательно выйдешь. Ты еще будешь счастлива, Лен. Даже без нее, обязательно будешь счастлива...» Чувствовала ли я себя сказочницей, рассказывающей утешительную сказку маленькой расстроенной девочке? Ну да, разве что немного. Во всяком случае, в моей реальности все это было возможно. Так хотелось это верить.

Степка позвонил мне с утра, до первой чашки кофе, поэтому я не сразу сообразила, кто звонит и о чем речь.

– Вы знаете, что маму прооперировали вчера? – В голосе столько беспокойства, что я сама начинаю суетиться, ходить из угла в угол по кухне. – Я звонил тете Варе, но она не берет трубку. Это мне соседка из маминной палаты сказала, потому что я все звонил и звонил, и она взяла мамин телефон, чтобы он не надоедал ей, видимо. Вы знаете что-нибудь?

– Я не знаю, Степа. Но я сейчас постараюсь позвонить в больницу и что-нибудь узнать. Потом перезвоню тебе, не волнуйся. Если бы было что-то плохое, мы бы уже знали, тетя Варя нам непременно позвонила бы. Я перезвоню тебе, ты только не нервничай.

При попытке дозвониться по телефонам справочной, я узнала только, что Инга еще в реанимации и ее состояние – «умеренно стабильное». На требование соединить меня со Смольниковым мне с непонятным ехидством было доложено, что он «уже ушел», а соединять меня с тем, кто его замещает, меня не стали, сопроводив отказ нравоучительным: «Девушка, он на операции, вы что думаете, ему делать нечего, как отвечать всем подряд?!» На мой вопрос, можно ли мне поговорить с Ингиным лечащим врачом, мне ответили со все более возрастающим раздражением: «Нельзя, он на обходе». В ответ на: «С кем я могла бы поговорить о подробностях ее операции и текущего состояния?» – услышала уже почти грубое: «Ни с кем, я же вам все уже сказала, звонят тут кто попало...» Гудки возвестили об окончании разговора.

Я поняла, что в ранге «кто попало» и «все подряд» успеха не достигнуть. Ну что же, наглости нам тоже не занимать. Я на две минуты залезаю в интернет. И набираю номер другого отделения:

– Добрый день, я помощник главного редактора медицинского журнала «Medicine Review», соедините меня, пожалуйста, со Смольниковым, мы хотели бы, чтобы он дал свои срочные комментарии к одной спорной переводной статье зарубежных авторов, нам его рекомендовали как лучшего специалиста в данном вопросе.

– Вы знаете, его дежурство уже закончилось, – голос девушки полон любезности и сожаления, – но я могу дать вам номер его мобильного, если это срочно.

– Вы очень нас выручите, спасибо! – Не люблю врать, но сочетание чужого хамства и собственной тревоги – плохой коктейль, взрывоопасный. Я записываю телефон.

Усталый голос врача, конечно, справедливо заставил меня почувствовать себя виноватой, но ничего не поделаешь, приходится беспокоить уважаемых людей, если справочная служба больницы плохо справляется со своими обязанностями.

– Я очень прошу прощения за беспокойство, я подруга Варвары Игоревны, нашу общую подругу – Ингу Можелевскую сегодня ночью прооперировали в вашей больнице, и я ни от кого не могу добиться информации о ее состоянии и о том, как прошла операция. Вы не могли бы мне помочь, ее сын очень беспокоится, да и мы тоже.

– Я сам ее оперировал. Абсцесс в ЖКТ, дренировали. Будет заживать. Сердце крепкое, но силенок у нее маловато. Еще бы побольше потерпела, то перитонит, тогда бы не спасли. Что за глупость, такую боль терпеть? Кто научил? А нам как понять? Думали от бронхита еще температура держится, удивлялись, почему антибиотики не действуют. Хотя бы намекнула, где болит. Чудачка она, ваша Инга. Придет в себя, сам ей скажу, чтобы бросала эту дурную привычку – терпеть. Если будет стабильной, к вечеру переведут в палату, тогда завтра с утра и приходите. Вареньке привет.

– Спасибо большое, доктор. А что ей принести?

– Да ей пока ничего нельзя. Мозги только вправить надо, и больше ничего. Сын у нее, говорите? Что ж она себя так не бережет, раз сын?

– Я ей все передам, спасибо еще раз, извините, если разбудила.

Вдох-выдох, сердце почему-то бешено колотится.

– Степа, не волнуйся, я только что разговаривала с врачом, который делал маме операцию. Он говорит, что операция прошла успешно. Сегодня за ней еще понаблюдают в реанимации, а завтра нам можно будет к ней сходить, навестить. – Я стараюсь, чтобы мой голос звучал оптимистично и бодро, хотя в душе что-то сжимается от слов Смольникова «тогда бы не спасли».

– Почему операция? Что с ней было?

Я слышу, насколько его поглотила паника.

– Абсцесс – это такое воспаление в животе, которое не сразу заметили, потому что мама не говорила о том, что у нее болит живот, а температуру списывали на бронхит. Но теперь уже все хорошо. Ты не волнуйся так, Степ. Он хороший врач, знакомый тети Вари. Она освободится, мы ей позвоним и еще ее поспрашиваем. Давай я к тебе приеду?

– Я не знаю. С ней точно все будет хорошо?

– Конечно! – стараюсь быть отчетливо убедительной, но у самой сердце так и трепещет. «Слабенькая», – вспоминаются мне слова врача, Ингина худоба и хрупкость, врезавшиеся в мою память, когда мы обнимались на прощание, ее глаза, затопленные безмерной усталостью и печалью. «Только если захочет жить», – думаю я про себя. Она же не сможет не захотеть, как можно оставить Степку? На кого? – Она непременно поправится. Как мы без нее? Я тогда собираюсь к тебе. А ты подумай пока, чем меня будешь кормить на обед.

Я надеюсь на то, что Степку отвлекут кулинарные заботы, сама же отвлечься не могу – потряхивает без всякого кофе. Пытаюсь дозвониться Варьке – безрезультатно, оставляю сообщение. По дороге в Люблино изо всех сил стараюсь ощутить надежду, но, к сожалению, получается ощутить лишь тревогу за будущее этой семьи.

На чем свет стоит кляня архитектора, который придумал пятиэтажный дом без лифта, взбираюсь на пятый этаж. Зато есть «отмазка» моему сбившемуся дыханию. Степка открывает мне дверь и не торопится на кухню, тревожно и напряженно всматривается в мое лицо. Я опускаю глаза под его взглядом, мне же нужно найти знакомые тапочки.

– Вы на самом деле сами не верите в то, что все будет хорошо, – говорит он упавшим голосом, разворачиваясь в направлении кухни.

– Я не то чтобы не верю, я просто беспокоюсь, Степ. Врач сказал, что сердце у нее крепкое, операцию она перенесла, но она слаба. И потом, знаешь, как бы мы с тобой ни хотели, чтобы она жила, все равно ей решать: жить или умереть. Я очень верю в то, что Инга жить хочет.

– А я нет. – Степка не торопится пересаживаться в офисное кресло шеф-повара. – От всего можно устать. И потерять надежду. Я терял. Я знаю.

Он сидит, уронив руки, потухший, недвижимый, почти неживой, глядя куда-то в окно. Молчим. Что тут скажешь? Что ни скажи, все будет враньем. Рядом с ним врать не получается, да и не хочется.

– У тебя кофе есть? Я еще не успела выпить с утра. Мне нужен кофе или крепкий чай, на худой конец. – Я поднимаюсь со своего места, ставлю чайник. Ситуация явно изменилась, и никто не будет меня корить за самовольное передвижение по святой святых.

– Есть, наверное, растворимый. Вон в той банке. – Он вяло кивает в сторону, не отрывая взгляда от окна.

– Нет, растворимый – это не кофе. Чай здесь? Сам-то будешь? – хозяйничаю я на кухне.

В какой-то момент, через паузу, которая кажется мне вечностью, он вздыхает, оживает и смотрит мне в глаза без капли трагизма, просто так, очень обыденно смотрит.

– Если мама умрет, то я тоже умру. Это самый простой выход. Это будет для нее освобождением. Вы должны обязательно ее убедить, когда она очнется.

– О чем ты говоришь, парень? Что значит «я тоже умру»? Что за глупости?

– Совсем не глупости. Это – выход. Она же не может умереть, потому что боится меня оставить. Вы можете себе представить, что такое детский дом для детей-инвалидов? Вот и она хорошо себе представляет. Но если я ей скажу, а лучше, если не я, а вы (вы как-то умеете быть убедительной), то она поймет, что без нее я все равно не буду жить, не захочу, не смогу, не буду и все! Я не хочу, чтобы она хотела жить и жила только ради меня. Я хотел бы, чтобы у

нее был выбор: жить ради себя самой или не жить. Иметь выбор – вы же понимаете, как это важно. Жить без возможности выбора – жить в рабстве, в западне. Но если выбор есть, даже такой, то это свобода. Понимаете, свобода!

Эти слова приводят его в какую-то странную эйфорию, меня радует его возвращение к жизни и эмоциональный подъем, но его речь кажется мне полной софизмов и точно не рождает во мне такого же воодушевления.

– Про свободу выбора ты, конечно, прав. А вот про то, что любая мать, тем более твоя, может воспринять с оптимизмом мысль о том, что ее ребенок не будет жить, убьет себя, – это ты явно ошибаешься.

– Вы не понимаете! Все говорят – надо жить! Надо жить! А вы знаете, что значит жить с чудовищной болью?! Не важно: ноги болят или душа? Смерть – это же освобождение, как вы не понимаете! Освобождение от боли, которую невозможно терпеть! Как это могут решать те, у которого никогда не было такой чудовищной боли? Как?! – Он уже кричит, и я снова боюсь, но во мне постепенно крепнут устойчивость и опора, которые уже чуть быстрее срабатывают и помогают сохранять самообладание.

– Степа, освобождение от боли – это очень важно. Очень. Но есть же другие способы, не только смерть. Беда в том, что ты видишь только этот, единственный путь. Но почти никогда не бывает так, чтобы он был единственным. Просто людям, попавшим в тупик, так часто кажется.

– Что тут может казаться?

– Понимаешь, если не пытаться терпеть, а искать возможности изменить ситуацию, то всегда можно найти еще несколько вариантов. Твоя мама, например, всегда знала только один способ – терпеть. Но я за это время обзвонила несколько центров помощи людям, попавшим в ситуацию домашнего насилия, к тому же у меня есть телефон знакомого юриста, который тоже может помочь. Западня – это ощущение, которое мы сами себе создаем, или то, во что мы верим, отказываясь обнаруживать еще что-то, кроме привычного.

– Что они могут, эти юристы?

– Посмотрим. Вот твоя мама поправится, выйдет из больницы, мы вместе с ней сходим и узнаем. А потом уже будем дальше думать и решать. Умереть всегда успеем. Этот выход из тупика у нас всегда в запасе. Идет?

– Идет. – Еще слегка сумрачно, но в глазах уже начинает светиться надежда.

– А теперь пора обедать, на чае я долго не протяну. Хочешь, чтобы я приготовила, или у самого есть какие-то идеи?

– Есть вареники с творогом и вишней, вчера сам лепил, в морозилке лежат. Сметана только почти кончилась. Будете?

– Спрашиваешь!.. Из твоих рук все что угодно. А много сметаны для нашего отнюдь не юного тельца – вредно.

Варька мне позвонила, когда последний вареник уютненько улегся в животе, Степка разгорячился от разговоров и чая. На щеках появился румянец, а в глазах – блеск, он с жаром вещал мне, погрязшей в полном невежестве в отношении классической музыки, о новаторстве Скрябина, о величии его Третьей симфонии.

– Ну что, напугались там все? – Варька звучит устало. – Извини, не знала, что ты звонила. Трудная операция была, не отойти. Дозвонилась до них, Смольникова не стала пока будить, пусть отоспится, оставила его жене сообщение, как проснется, перезвонит. Это, конечно, совпадение, чтобы все так наложилось. Хорошо хоть Смольников был, он же въедливый, заподозрит неладное, сразу разрежет. Другой бы и резать не стал, на УЗИ ничего не было видно. А этот – молоток. Жизнь ей спас. Теперь главное – восстановиться. Сегодня у них Михайловна дежурит, я попросила, чтобы из реанимации пока не переводили. Михайловна не даст умереть. У нее с этим строго. Мать у нее умерла от врачебной ошибки, еще молодой. Так она теперь терпеть не может, когда в ее дежурство кто-то помирать собирается. Завтра с утра после обхода посмотрят и тогда переведут. Можно будет прийти, хотя ей бы отоспаться по-хорошему. Ничего, до утра она в надежных руках. С ног валюсь и есть охота, вот не знаю, что делать.

– Бедная Варька, пошли своих молодцов-ординаторов тебе чего-нибудь сварганить, а сама ложись, вздремни. Спасибо тебе, дорогая. Успокою Степку, я сейчас у него дома. В отличие от тебя мы сыты чудесными варениками, жаль, что не могу тебе их по телефону послать...

Утро я решила начать с посещения доктора Каменецкого. Впрочем, когда я пришла в центр, оказалось, что для

решения моего вопроса мне не требуется беспокоить столь занятого человека. Когда я рассказала приветливой девушке-администратору, в чем суть моей просьбы, она легко откликнулась, соединив меня с богатырем Андреем. Через полчаса он обещал подъехать к центру, чтобы мы вместе отправились в Люблино. Идея навестить Ингу всем вместе уже давно крепла в моей голове. Для поднятия всеобщего духа, как мне казалось, нет ничего лучше встречи.

Андрюша, как все его называли, оказался действительно богатырем. Его детское лицо с ярким, как будто туберкулезным, румянцем излучало какое-то неиссякаемое добродушие, его настоящий возраст определить было почти невозможно. Очень детское выражение лица и мощное тело.

Девушка-администратор рассказала, что пять лет назад он был довольно успешным и подающим большие надежды спортсменом в греко-римской борьбе, но очередная, особенно неудачная черепно-мозговая травма – и необратимые изменения.

Речь так практически и не восстановилась, временами его мучают ужасные боли, но самое главное, необходимость уйти из спорта совершенно выбила у него почву из-под ног. И если бы ему пришлось оставить только спорт. Потеря следовала за потерей. Его отец, по чьему настоянию он пошел в большой спорт, узнав, что полное восстановление невозможно, развелся с его матерью, с которой они и так не жили вместе. Выбросив этих двоих за борт, как уже отработанный материал, и оставив их почти без средств к существованию (его мать почти всю жизнь не работала, и, естественно, не потому, что не хотела, просто отец был яростно против), взял себе другого воспитанника и стал ковать из него чемпиона, напрямую заявив жене и сыну, что они его сильно разочаровали.

Мать устроилась кассиром в супермаркет, Андрюша стал крепко выпивать. Выгнанные из собственной квартиры отцом, они вынуждены были снимать маленькую комнатку в довольно криминальном районе ближнего Подмосковья. Спасались тем, что когда материнские смены заканчивались поздно, Андрюша ходил встречать мать к электричке. Как-то раз он не пришел, поскольку был крепко выпивши, матери пришлось возвращаться одной, на нее напали и убили.

Сын попытался отравиться, приняв какие-то таблетки с огромной дозой алкоголя, но бывший друг семьи, после похорон курировавший Андрюшу, не дал свершиться еще одной смерти.

Сначала он попытался приспособить его к тренерству, но плохая речь не позволила ему развиваться на этом поприще: московские матери принимали его за слабоумного и не спешили доверять ему своих мальчишек. Потом привел его на курсы спортивного массажа, а потом для него нашлась работа в центре Каменецкого.

Андрюша воспрял духом, бросил пить, снял комнату в Москве (другу семьи удалось уговорить его отца выделять хотя бы незначительную ежемесячную сумму на съем квартиры, раз уж он не хочет делиться с сыном жилплощадью, которая принадлежит ему по праву). И принялся с таким воодушевлением пользоваться своей физической силой, таская неходящих деток и их коляски, что моментально стал всеобщим любимцем и начал получать столько любви от благодарных матерей, сколько не получал за всю свою жизнь.

Мои первоначальные сомнения: «Могу ли я без особой необходимости просить кого-то помочь с моей затеей?» – девушка-администратор развеяла с улыбкой: «Вы просто посмотрите в его лицо, когда он возьмет Степку на руки, у вас все сомнения отпадут».

«Тепа», – только и сказал великан за всю дорогу до Люблино, широко улыбаясь, будто ему предлагали что-то давно вожаемое. «Тепа», – еще раз произнес он, только с еще большей нежностью, которую трудно заподозрить в таком могучем теле, когда мальчик-колясочник открыл нам дверь.

Степка уставился на нас несколько растерянно:

– Нам же только двадцать шестого на осмотр, Андрюш, ты ничего не перепугал?

– Нет, он ничего не перепугал, это я его попросила, мы едем к маме в больницу. Варя звонила с утра, состояние стабильное, она уже в палате.

Трудно описать выражение его лица... Во всяком случае, мне с трудом удавалось сдерживать слезы. Впервые я порадовалась тому, что лампочка в прихожей такая тусклая. Так, оказывается, легко растрогать этого мальчишку и сделать его растерянным и абсолютно счастливым.

Еще одно выражение – тихого счастья вкупе с непередаваемой нежностью и бережностью мне довелось увидеть пятнадцать минут спустя, когда мальчишечьи руки сомкнулись вокруг богатырской шеи.

Она плавала в океане. В безбрежном, спокойном, величественном. Они были друзьями – она и океан. Или нет –

скорее, она была его дочерью, которую нужно баюкать, любить и беречь. Она точно знала, что он не причинит ей вреда. Ее тело лежало на воде, и можно было не предпринимать никаких усилий для того, чтобы находиться в нем бесконечно долго. Ее будили, а она плакала. Ей казалось, что она теряет его навсегда. «Я это заслужила», – стонала она.

– Заслужила, заслужила, – ласково бухтела Михайловна, – только все равно будем просыпаться. Давай, милая, давай потихоньку.

Когда боль стала возвращаться, она впервые не стала принимать ее как что-то привычное. Жить в океане, который не причиняет тебе боли, в котором можно не бояться, не стараться, не торопиться, не тревожиться, – вот чего она хотела бы теперь.

– Верните мне его, – шептала она.

– Кого вернуть, милая?

– Океан...

– Это уж вряд ли. Больно тебе, что ль?

– Больно... не хочу, чтобы больно.

– Ну этого ж никто не хочет. Потерпи, милая, к утру полегче станет.

Ночью ей приснилась другая его «Мать и дитя» из голубого периода. Он, еще малыш, лет, наверное, трех, тонет в ее объятиях. Она, прикрыв глаза, тонет в нежности и безмятежности присутствия. Пока они вместе, ничего страшного просто не может случиться. Они оба тонут в синеве их покоя. Во сне она с удивлением понимает, что от одиночества и тоски голубого не осталось и следа, лишь затопляющая синь отца-океана.

– Ну вот, вы и вернулись. А то вам тут телефоны обрывали, сын вам трезвонил, потом перестал, или телефон сел, уж не знаю. А меня сегодня выписывают, через пару часов сын за мной придет. А выглядишь ты бледной больно, может, чего нужно? – Соседка по палате, легко переходя с «вы» на «ты», деловито упаковывала в какие-то громко шуршащие пакеты свои вещи. Шуршание почему-то звучало для Инги оплущительно и даже как будто причиняло боль.

– Нет, ничего не нужно, спасибо, – с трудом просипела она, хотя хотелось крикнуть совсем другое: «Замолчи! Перестань шуметь своими пакетами! И вообще, зачем ты здесь?! Или я? Зачем я здесь? Я не хочу! Отпустите меня назад, я хочу в океан. Там только я и он, там нет никого из вас!»

– Ну что тут у нас? Полюбуйся, Варька, вытянул я с того света тебе подругу, теперь мы в расчете, так? – Стремительно вошедший в палату Смольников и Варя показали ей тоже шумными и какими-то уж очень большими, заполняли собой всю палату. – Сейчас мы проверим, усвоила ли она урок. Больно ли тебе, девица, больно ли, красавица?

– Ты прям как Дед Мороз из фильма «Морозко», тот еще садист был. Ее морозит, а сам спрашивает: «Тепло ли тебе, девица, тепло ли тебе, красная?» Как ты? – Варя села на край кровати, провела рукой по лицу. – Бледная совсем. Тошнит?

– Так и есть, сам режу, сам и спрашиваю. Так как? Больно?

– Больно... – шепчет она, – и тошнит.

– Больно теперь – значит, живая, теперь уже немного потерпеть нужно. Очень больно? Потерпишь? Или уколоть?

– Потерплю.

– Давай осмотрим тебя, голубушка...

– А у меня для тебя сюрприз! – Варя улыбается, глядя по руке и автоматически щупая пульс. – Сейчас обход закончится, и увидишь.

Она улыбается в ответ, хотя все, что ей хочется сказать: «Просто оставьте меня одну, я заслужила».

Ее снова поглотила почти блаженная дрема, когда шум в дверях заставил ее приоткрыть веки. Это было настолько

трудно, она даже не помнит, что и когда еще в ее жизни было более трудным. Она немедленно снова закрыла бы глаза, если бы ей не померещился любимый голос. Она сделала еще одну попытку... Что-то огромное и двухголовое стояло в дверях, Арину она узнала первой, та стремительно подошла к кровати и запричитала:

– Господи, ну какая ж ты бледная...

А дальше такое заветное, такое даже неожиданное:

– Мама...

Великан вдруг разъединился и превратился в Андриюшу и Степку. Степка протягивал к ней руки. И как на синей картине Пикассо: кольцо бессильных рук, до боли знакомый запах родной макушки, и покой, и слезы, что текут по лицу, текут... и ничто не может остановить их, столько их накопилось, столько...

– Тепа ы ма-а... – снова произносит великан и тоже плачет, улыбаясь своей удивительной детской улыбкой.

Отпуск незаметно и стремительно катился к концу. Статья была не написана, планы не исполнены, муж смирился с непредсказуемостью такого события, как ужин в нашем доме, даже когда я в отпуске. Но ощущение того, что не важно, какая именно на улице погода, куда еще заведет меня сюжет детективной истории в моей книге или будет ли предел вечности, прошедшей со времени моего последнего маникюра, – все это стало каким-то не то чтобы второстепенным, но точно менее значительным в сравнении с тем, что приходилось переживать. Муж говорил, что я стала кричать во сне. Мне казалось это странным, с чего бы мне кричать. Однако я значительно потеряла в весе при полном отсутствии диет и при том, что Степка периодически активно угощал меня всякими вкусностями.

Еще я изменила свое отношение к нашей Ленке, ведь если бы не она, я не узнала бы столько замечательных людей. Инга поправлялась и мечтала снова вернуться домой. Хотя Смольников, не доверяя ее способности внятно описывать свое состояние, постоянно заставлял ее проходить самые разнообразные обследования. Проникнувшись ее историей и познакомившись со Степкой, он решил взять над Ингой шефство и читал ей длинные лекции о природе и особенностях боли и важности подробного описания ее для своевременной медицинской помощи. Инга улыбалась и готова была слушать его целую вечность, внимая лишь звуку его голоса, который питал ее заботой и участием. Дефицит, который, казалось, никогда не покрыть.

Ленка похоронила маму, по-прежнему была подозрительно тиха. Впервые за много лет я с тревогой и искренним участием набирала ее номер, а не мечтала о том, чтобы Ленка как-нибудь потеряла свой телефон со всеми контактами. Я даже начала вынашивать ну совершенно не реалистичную идею – научить Ленку готовить. Нет, я не великий кулинар, у меня просто обычно не хватает на это времени. Но то, чем кормит Ленка своих детей и даже собаку, кажется просто вредительством, в другой стране ее, возможно, привлекли бы к ответственности за негуманное отношение к живому.

Встретившись с Каменецким, как всегда совместившим разговор с приемом пищи, я узнала о том, чего именно не хватает для того, чтобы начать проводить кулинарные курсы на базе их центра. Оказалось, не хватает денег. Да, этой мелочи и банальности, определенной суммы, на которую можно было бы оборудовать кухню, достаточно просторную, учитывая специфику центра. К счастью, более-менее подходящее помещение под эти цели даже удалось обнаружить, нужно было сделать только небольшую перестройку.

Немногочисленный персонал центра воспринял идею появления собственной кухни с большим воодушевлением, потому что работали там в основном трудоголики и энтузиасты, забывающие о такой мелочи, как вовремя поесть. Но мы-то с вами знаем, что это ни в коем случае не мелочь.

Передо мной стояла задача: найти благотворителя, готового дать денег. Часть средств пожертвовала Елизавета – вполне процветающая дочь моей подруги Валушки, она же договорилась и нашла недорогое, списанное, но высококачественное, почти ресторанное кухонное оборудование, обещала поговорить с горячо любимым ею Энрико – прекрасным итальянским стариком-поваром – о проведении небольшого обучающего курса. Осталось добыть еще небольшую часть средств, и я решила встретиться с Аликом в надежде позаимствовать у него возможные контакты состоятельных граждан, к которым можно было бы обратиться с подобного рода просьбой.

Я даже не стала произносить имя горячо обожаемой им Вареньки, чтобы не манипулировать его пристрастиями. Ради нее он и сам бы отдал последнее. Варька активно поддерживала эту идею – создать на базе центра такую площадку, считая, что она очень поможет как деткам, имеющим разные ограничения, так и сотрудникам. Сама она, будучи гастроэнтерологом, мучилась от отсутствия времени и возможностей, нужных для приготовления здоровой пищи, на собственных долгих дежурствах. Правда, мою идею – приобщить к этому Ленку – воспринимала скорее со скепсисом.

Так что я вполне могла бы обронить словечко Алику о горячей поддержке Вареньки этого проекта. Но не стала. До поры до времени. Алик быстро нашел для меня время, и уже к вечеру в том же самом кафе я рассказывала ему всю историю и суть дела.

– Большое спасибо тебе за контакты твоего брата-юриста. Ингу должны выписать на следующей неделе, и мы сразу же с ней туда ходим. Теперь вот кухня – наш проект.

Когда Алик услышал о необходимой сумме и масштабе строительных задач, он снисходительно усмехнулся и сказал:

– Умеешь ты создавать ажиотаж, Арина. У меня есть знакомая строительная фирма, они выделяют вам пару своих рабочих, ну не пару, маленькую бригаду. А эту сумму я и сам могу выделить, смешно даже благотворителя искать. Хотя, может, найти его и следует, центр кем-то же финансируется, и наверняка экономят на всем.

– Еще раз спасибо тебе, Алик. Ты просто наш спаситель. А чего ты такой подавленный, случилось чего?

– Случилось? Ничего, кроме самой жизни. Жизнь случилась. Отец через месяц-другой совсем угаснет, и что мне останется? Пустота... Как я когда-то мечтал освободиться от них, от их желания поступать «разумно» и «правильно», тогда казалось, что надо лишь хоть раз отважиться на бунт. Лишь раз хотя бы попробовать.

Когда сидел возле материнской постели в больнице, знаешь, ловил себя на мысли, что никак не могу ее пожалеть. Что злорадствую, представляешь? Как будто хочу ей сказать: «Ну что, и до чего довела тебя твоя разумность и полная убежденность, что ты знаешь, как лучше?» Мне было так страшно, что она осознает, что в чем-то чрезвычайно важном ошиблась, но уже ничего не вернуть... Хотя было не похоже, даже с больничной койки она давала мне столько предписаний и советов, даже не желая замечать, насколько они далеки от того, в чем я реально живу. Весьма скорбно ощущать тот факт, что твоя мать покидает тебя, так и не успев стать настоящей матерью, не захотев понять, что же за человек – ее сын.

Отец – тот понимал меня больше, но он так привык полагаться на нее во всем, что никогда не решался возражать и потому никогда не становился на мою сторону. Я видел, что он понимал, что именно меня гнетет, но никогда не смел ей противоречить.

– Все понятно, Алик. Меланхолия у тебя, черная тоска по несбывшемуся.

– Что тебе понятно, чудачка? Что ты знаешь о меланхолии и тоске?

– К сожалению, больше, чем может показаться стороннему наблюдателю. Моя энергия и оптимизм – лишь прикрытие. И судя по всему, весьма удачное, раз тебе в него так верится.

Ведя длинные разговоры с мальчишкой-инвалидом, я кое-что поняла про беспомощность, тоску и черное. Черное – это и ощущение конца, но и возможность начать заново. Тоска, как и боль, – это и мучитель, и друг, показывающий, что тебе чего-то сильно не хватает. С беспомощностью сложнее. Говорят же: «Господи, дай мне спокойствие принять то, чего я не могу изменить, мужество – изменять то, что я могу изменить, и мудрость – отличить одно от другого».

– Ну перестань, ты же вырываешь цитату из контекста, забывая, что озвучивал ее проповедник, и чуть далее по тексту: «...Веря, что Ты устроишь всё наилучшим образом, Если я перепоручу себя Твоей воле...» Это про тех, кто верит в Господа. Ты вроде бы не из этих.

– Я не про Господа, это точно. Я о том, что мы на самом деле так мало знаем о наших ограничениях и возможностях. До обидного мало. Нас учили в школе чему угодно, только не этому: как понять, когда стоит смириться и принять собственные ограничения, а когда пробовать, искать пути, видеть перспективы там, где, как кажется, их и в помине нет. Трагедия, наверное, в том, что в чужой судьбе нам сплошь мерещатся перспективы, а в собственной – часто одни лишь тупики и невозможности. И трудно понять тогда, кто прав. Первый, кто субъективно пока не может или вообще не способен что-то важное изменить в своей жизни, либо второй – смотрящий на жизнь первого со своей «колокольни», с которой все его проблемы кажутся такими решаемыми, видятся в весьма разнообразных перспективах и смыслах. И думаю я, что собственный опыт к чужой истории весьма малоприменим.

– Ты именно поэтому так активно участвуешь во всей этой истории? – Алик улыбается немного снисходительно и тепло.

– Я, как ты говоришь, участвую отнюдь не по рациональным или даже разумным соображениям, сама история меня вовлекла, втянула, как какое-то опасное океанское течение – исподволь, незаметно. Не знаю, изменит ли это их жизнь, но мою уже в чем-то изменило. Хотя бы эту пару недель. Ведь ты тоже не отказываешься участвовать.

– То, что я делаю, – мелочи. К тому же, этому парнишке, такому, как ты его описываешь, трудно не помочь.

– Вот и я об этом. Меня-то гнетет необходимость как будто постоянно искать смысл в каждом дне. А тебя что?

Алик внимательно всматривается в меня с легким изумлением и замешательством:

– Это у тебя философское, теологическое или психологическое? Ты что, можешь позволить себе задаваться вопросами смысла жизни?

– Это у меня просто жизнь, Алик. Наверное, женщина, способная родить ребенка, вместе с ним рождает и смысл. Мне же не дано иметь детей, и потому простые и естественные смыслы не появляются сами собой. Наверное, поэтому и задаюсь. А может быть, просто драматическая способность к честному взгляду на саму себя, с которой временами уже и хотелось бы расстаться. Стать наивнее, беззаботнее и легче. Ты, можно подумать, не задаешься?

– Нет, не задаюсь. На этот раз я точно знаю, чего именно я хочу. Я хочу вернуться в Москву.

– Куда? В какую Москву? В Москву своей юности? Ты в курсе, что ее уже давно нет? Москва с тех самых пор давно переменилась.

– Я понял, что я не хочу быть специалистом по России, я хочу быть специалистом в России. И почему ты меня так отговариваешь? Ты же сама живешь в этом городе. Вот и я хочу. Также хочу ощущать себя живым, хочу жить, а не анализировать собственную страну.

– Знаешь, это ощущение у тебя не появится просто от смены места проживания. Полагаю, можно быть живым в любой стране и любом городе. География не определяет степень чьей-то живости.

– Чьей-то – возможно. А моей – да, определяет. В этом городе для меня будет только одна сложность – делить его с ней. Жить рядом, понимая, что самое важное в моей жизни уже не исправить.

– Вот тут ты ошибаешься: в Москве легко можно жить совсем рядом и не видеться годами, суетливая жизнь этого гигантского спрута так поглощает, что и... – Я осеклась под его красноречивым взглядом. Тот факт, что до этого случая нас с Варькой жизнь так развела, еще ничего не значит в сравнении с тем, что он в отличие от меня с ней никогда не расставался. Она, судя по всему, навсегда поселилась в его голове или сердце, не знаю, как будет точнее.

Накануне похода к Аликиному брату-юристу Инга опять температурила. Степка с утра обеспокоенно мне доложил все подробности предыдущей ночи: металась в жару, шептала: «Держи равновесие, перебирай ногами...», проснулась опять очень бледная, слабая, но вроде бы без температуры уже.

– Может быть, вам не стоит сегодня ехать? Подождать еще несколько дней?

– Не знаю, Степ, через несколько дней меня уже может закрутить круговерть работы, будет трудно выбраться, ей придется идти одной. К тому же само ожидание, похоже, может ее измучить. Лучше, как выйдет из ванной, ты дай ей трубку, я у нее сама спрошу.

Сошлись на том, что я вызову такси к Инге, сама подъеду на метро. Эраст Генрихович – человек занятой, не хотелось и его подводить, так безрассудно пользоваться его драгоценным временем. К тому же, как оказалось, мы явились к нему совершенно неподготовленными. Ни бумага о разводе, ни справок из ЖЭКа о том, кто прописан на жилплощади, ни документов об инвалидности сына. Начисто выпало из наших женских голов, что мы едем к юристу. А юрист – это документы прежде всего. Но Эраст (совершенно непохожий на Алика – подтянутый, моложавый брюнет с аккуратной прической, как будто только из парикмахерской) что-то все время писал в своем блокноте, составлял какие-то схемы. Сказал, что отправит запрос туда и запрос сюда, и через пятнадцать минут нас выпроводил, объявив, что как только придут ответы на запросы, он позвонит и расскажет, какие шаги нам можно предпринять.

– Зря мы это. – Инга шла, как-то странно сгорбившись. – Побеспокоили такого человека. Я же говорила, даже не стоит начинать.

– Брось, он уделил нам всего пятнадцать минут, ну двадцать от силы. Это же его профессия. Мы же могли ему заплатить за работу, просто Алик сказал, что не нужно. Но если тебя смущает, то в следующий раз заплатим сами.

– Да нет, просто бесполезно все это.

– Ты просто боишься. Ты привыкла бояться, привыкла к тому, что тебе мало кто может помочь. Но когда болеешь, ты же идешь к врачу? – Я поймала Ингин непонимающий взгляд. – Ну не ты, другие люди, когда заболевают, идут к врачу. Есть проблема со здоровьем, есть пути решения проблемы. С этим так же. Есть проблема юридической незащищенности, идем к специалисту ее решать. На завтра я записала тебя к психологу в специальном центре, работающем с домашним насилием.

– А это еще зачем? – Инга смотрит на меня уже не растерянно, а почти враждебно.

– Затем, что без проработки модели насилия внутри трудно от нее освободиться. Так мне там сказали, особенно если проблема тянется с самого детства.

– Вот зачем это все?! – Ее ярость, так редко проявляемая, уже становится весьма ощутимой.

Сейчас уже ее бледность и нерешительность почему-то не рожают во мне сострадание, я чувствую, как во мне закипает злость, которую я пытаюсь облечь в слова, но, судя по всему, плохо получается.

– Затем, что у тебя ребенок. И если уж ты на себя собираешься махнуть рукой, то хотя бы о нем подумай!

– Тебе даже трудно представить, Арина, как много и как часто я о нем думаю. Ты, возможно, забываешь, что именно я – его мать.

Напряжение между нами выросло настолько, что любое слово или даже междометие могло бы привести к мощному взрыву. Мои мурашки, размером с детенышей слонов, сообщили мне, что если Инга и взрывается, то так, что все сметает на своем пути. Да и мои обиды обладают чудовишной способностью – создавать гигантское и часто непреодолимое расстояние. Ее слова, промедление и желание уйти в отказ – как удар под дых. Не то чтобы я этого не ожидала, ждала. Но все-таки надеялась на ее благоразумие и глубину. Напрасно. К тому же ужасно больно, когда тебя именно таким образом ставят на место.

Мы шли к метро в полном молчании, под звон моих осыпающихся надежд. Мне было так больно и грустно, так жаль как будто потерянных дней своего отпуска, последний из которого заканчивался завтра. Захотелось прийти домой, укутаться пледом, отвернуться к стене и лежать. Лежать до тех пор, пока появится хоть какой-то смысл, ради которого мне захотелось бы подняться с постели. Лучше, конечно, как можно более великий, который вернул бы мне энергию, веру в человечество и желание жить. Пока я ощущала лишь безмерную усталость и невероятную горечь, которые захватили меня столь сильно, что я, как в детстве, стала мечтать о какой-нибудь волшебной катапульте, которая бы в один миг перенесла меня на диван, минуя эту долгую дорогу в метро, наполненную нашим напряженным молчанием.

На следующее утро, вяло борясь с пустотой внутри, я все же посетила фитнес-клуб, бассейн, потом еще были стоматолог, парикмахерша и маникюрша. Дела и привычные заботы заполнили этот день, а потом и последующие. Ощущение, что не стоило так рьяно вмешиваться в чужую жизнь, день ото дня только крепло, отзвываясь внутри горьким послевкусием.

Где-то дня за три до Нового года мне вдруг позвонила Елизавета:

– Арина, вы будете завтра на открытом уроке? Вы не могли бы взять вашу камеру, мы хотим с двух заснять, чтобы лучше было видно.

– На уроке чего, Лиза? – Моя голова забита работой, и я с трудом пытаюсь понять, о чем идет речь.

– Как чего, кулинарии, конечно. Завтра же праздник открытия кухни в центре, и Энрике приезжает с открытым уроком. Не может же такого быть, что вы про это забыли.

– Эээ, не то чтобы я забыла, я как-то выпала немного из всех этих событий, закружилась.

– Ну как же, Степан вас так ждет. Видите, как удачно, что я вам позвонила. Так вы будете? Могу я рассчитывать на вашу камеру? Надо, чтобы кто-нибудь снимал с другого ракурса, я-то буду переводить.

– Лиза, во сколько это будет? Я пока не могу сказать тебе точно. Я сейчас вся в делах, и голова занята совсем другим. Ничего, если я тебе ближе к вечеру перезвоню? На камеру можешь рассчитывать в любом случае. А самой мне надо сначала собраться с мыслями. Хорошо?

Я снова погрузилась в работу и вспомнила о разговоре, лишь обессиленно вывалившись из офиса в темную и стылую Москву. Решила набрать Варьку:

– Привет, дорогая, как твоя жизнь? Ни от чего важного не отвлекаю?

– Да нет! – В ее трубке слышится такой шум и гам, что удивляюсь, где она нашла такое оглушительное место. – Я тут у Ленки, решаем, в каком платье ей завтра пойти.

– У Ленки! – Я улыбаюсь, вот что напоминает мне этот галдеж. – Куда она завтра собирается пойти?

– Ну как куда? На праздник открытия кухни.

– Ленка? С чего вдруг? Все, похоже, в курсе, кроме меня.

– Как с чего? Слушай, ты далеко? Может, подъедешь, сможешь нам выбрать.

– Да что за сложность-то, она же не на прием к британской королеве собирается.

– Ну как сказать... А, ну ты ж у нас не в курсе. Слушай, тебе точно стоит приехать. Давай же, чего ты такая замороченная?

– Я замороченная? Да нет, просто уставшая, как старый египетский раб, и голодная, как сто китайцев. У Ленки ж ни отдохнуть, ни поесть...

– Да есть что поесть, я суши заказала, уже привезли, и торт принесла с собой – мальчишек порадовать, так что давай приезжай, накормим твоих китайцев.

По дороге я пыталась представить, в курсе чего я могла бы быть, – никаких свежих идей в моей отупевшей и тухлой к вечеру голове не рождалось.

Ленкина квартира после смерти мамы значительно преобразилась – прежний хаос, ютившийся ранее в одной половине квартиры, распространился теперь на каждый сантиметр пространства, легко устранив прежние различия между чистотой в материнской «половине» и переизбытка и хаоса в другой ее части.

Теперь квартира была относительно равномерно завалена всякими вещами, игрушками и прочими предметами иногда загадочного предназначения. Как всегда, жизнь в этом доме сопровождалась громкой какофонией: собачьим лаем, детскими перепалками, дико раздражающими своей повторяемостью звуками компьютерной игры. К этому прибавился еще оглушительный рэп – старший, видимо, окончательно вошел в пубертат и неистово самовыражался через музыку, которой он самозабвенно подпевал и «йо»-подтанцовывал, соответственным образом юряча пальцы. Короче, дурдом и цирк, вместе взятые, на выезде, точнее, в сорокапятиметровой «двушке».

Среди всего этого веселья я увидела Варьку, как всегда успокаивающую меня своей медноволосой красотой и уверенностью, сквозящей в каждом ее грациозном жесте, и Ленку, потерянно бродящую среди разбросанных повсюду платьев.

– Идем, покорми меня, заодно все и расскажешь, – молю я Варьку, увлекая ее в кухню, норовя прикрыть за нами двери, наивно думая, что так станет хоть немного потише. Только я поднесла кусочек тунцового ролла, щедро вымоченного в соевом соусе, ко рту, как дверь с оглушительным треском распаивается, и на пороге появляется малец с каким-то невысказанным оружием, грозно произнося надлежащим басом для пушей убедительности:

– Сдавайтесь! Вы обнаружены! Вы в лапах космических пиратов! Быстро оружие на стол!

– Едрит-мадрид, ребенок, ну нельзя же так! – Мой ролл от неожиданного вторжения пиратов стремительно пикирует назад – в розетку с соевым соусом, орошая меня темными пятнами. – Вовка, нельзя ж усталых дряхлых тетенок так пугать! Я тебя сейчас так обезоружу, ты от меня еще полгода прятаться будешь!!!

Я изо всех сил делаю строгое лицо, но, видимо, не очень получается, потому что сорванец скачет по кухне и еще громче вопит:

– Вам не обезоружить главного космического пирата!!! Ну давайте, давайте, попробуйте!

Я закатываю глаза и не знаю, что перво-наперво мне стоит предпринять: прихлопнуть эту вопящую поросль, начать все-таки есть суши или пойти отмывать свою нежно-голубую блузку. Выручает меня Варька, она хитро

улыбается и странным голосом произносит:

– Так, не понимаю, куда у нас запропастился главный пират?

– Так вот он я! – Вовка прыгает и поворачивается к Варьке, строя максимально зверскую физиономию из имеющихся в его репертуаре.

– У нас для вас есть суперсекретная информация, могу сказать ее вам только на ушко. Ну или азбукой Морзе, если понимаете.

Секундное замешательство.

– Давай на ушко! – И Вовка доверчиво подставляет ей свою вихрастую, совершенно употевшую голову.

Варька что-то важно шепчет ему, Вовка молча кивает, а потом внезапно удаляется из кухни, и наступает хотя бы подобие вожделенной тишины.

– Ты – волшебница! Как тебе удалось? Что ты сказала ему?

– У нас есть минут десять тишины, полагаю. – Варька улыбается, промакивая салфеткой уже почти впитавшиеся пятна. – Ешь давай. У меня ж своих двое, ты забыла? Все просто: дала ему задание – быть главным наблюдателем-разведчиком космолета, сесть в засаду и следить за тем, что происходит вокруг, следить за любыми признаками вторжения вражеских сил.

– А что это за признаки? – Суши уже стали укладываться в мой давно жаждущий их томительного присутствия желудок.

– Это нам с тобой и даст некоторое преимущество во времени. Пока еще он придумает, что это за признаки. Правда, зная Вовку, думаю, враги непременно обнаружатся, так что ты уж очень-то не теряй бдительность, держи палочки крепче.

– Что у вас происходит, рассказывай. Я как-то заработалась, выпала из этой истории, не слежу за событиями.

– Да ты не только не следишь, но и не участвуешь. Хотя я тебя понимаю, конечно, можно устать от всего этого. Алик привез деньги и бригаду к твоему Каменецкому еще недели три назад, те посмотрели, сказали – месяц, не меньше. У них там прораб – такой колоритный, по-моему, армянский дядька, – Айратом зовут. Он как этих детей увидел, особенно Степку, который прям ужасно почему-то расстроился, что до Нового года им не успеть, так сказал: «Эээ, с такой подмогой мы быстро управимся! Не горюй, барекам, сделаем, глаза не успеешь открыть, как уже все готово будет».

Быстро понял старый Айрат, что это не обычный объект. И привлек небольшую группу мальчишек к ремонту, в том числе и Степку, наверное, понимая, что с ними, возможно, еще и дольше получится. Или, во всяком случае, всей бригаде работать придется при таком раскладе больше, а не меньше. Каждый из бригады взял кого-то из парнишек на себя и обучал его. Один шпаклевать учился, другой плитку класть, третий сантехнику устанавливал, четвертый – розетки, и так далее. Дети там «днемали и ночевали», рабочие реально ночевали, иногда ночами и рано утром что-то поправляя или доделывая. Потом оборудование привезли, а ставить пока некуда. Еще поднажали. Так вот к Новому году и успели. Сама еще не видела, только по Ленкиным рассказам.

– А Ленка-то там как оказалась?

– Что там вначале было – не помню. По-моему, Ленка хотела встретиться с Ингой, а Инга со Степкой были в центре, ну она и говорит ей: «Подъезжай туда, заодно и посмотришь на нашу стройку». – «Может помочь надо?» Ты же знаешь Ленку – она, конечно, поехала. Там в этой всеобщей кутерьме увидела Каменецкого, который на стройке тоже часто бывал, подписывал бумаги, следил за ходом работ. Ленка влюбилась в него, по ее словам, «до смерти». И уж конечно, стала ездить туда каждый вечер, иногда Игореху своего брала с собой, его почему-то стройка очень воодушевляла. Он там по большей части мешал всем. Но старый Айрат души не чает в Ленке, поэтому Игорехе пришлось все. Степка, по-моему, был главным помощником Айрата, а Игореху он сделал старшим помощником Степки. Вот такая сложная у них была иерархия.

А я-то помню твою идею – научить Ленку готовить. Поэтому я всячески поддерживала Ленку в том, чтобы обязательно участвовать в кулинарном обучении, особенно когда придет итальянец. И вот теперь ее совершенно не надо уговаривать ездить в центр, она сама готова оттуда не уходить, лишь бы хоть мельком видеть Каменецкого. Не знаю, как в кулинарии, а в ремонте она оказалась хороша. Айрат ее уже неделю уговаривает с ними работать.

Пока что Ленка мечтает только о Каменецком и о ремонте в собственном доме, который Айрат готов начать хоть завтра, несмотря на то что Каменецкий выбил очередные средства и очень просит их за новогодние каникулы хотя бы немного подремонтировать центр.

Теперь ты понимаешь, почему выбор платья на завтра – это сверхважная задача? Ты заметила, как она похудела? На ней теперь же все висит, ничего нового купить не было времени, вот и ходит потерянная из угла в угол. Ее хотя бы немного успокоил тот факт, что Айрат дал Каменецкому согласие отремонтировать центр. Ленка под это дело, кроме праздничных дней, еще и отпуск взяла, чтобы вместе с бригадой там работать.

– Да, вот это закрутилось все у вас, карусель еще та!

– Да не у нас, у них. Я-то там еще ни разу не была, завтра вот забегу только, если успею освободиться. Так-то я только по телефону была в курсе всего. Ленка, взрыдывая от своей несчастной любви, звонила почему-то мне, говорила, что тебе бесполезно – ты на Ингу смертельно обиделась и не хочешь теперь принимать участие во всей этой истории.

– Я не то чтобы обиделась, просто на работу вышла, закрутилась. А с Ингой мне действительно стало тяжело в какой-то момент. Кто уж кого обидел, не знаю. Просто, наверное, у нас были разные взгляды на ее ситуацию.

Мне неприятно было снова вспоминать ту горькую ноту, на которой мы с Ингой расстались, и разнонаправленные, противоречивые желания начинали во мне свою борьбу: снова вовлечься в эту круговерть или отстраниться, не ездить никуда, разрешив всему происходить без моего участия?..

В этот момент дверь в кухню снова распахивается, и на пороге появляется Ленка с ворохом платьев и отчаянием в глазах.

– Ну что, прохлаждаетесь? А человек в этот момент гибнет!

– Мы не прохлаждаемся, – бурчу я, – поддерживаем жизнедеятельность. Давай показывай, какое из них тебе больше нравится. Я ушью прямо на тебе. Нет повода для паники.

– Мне нравится вот это, красное, но у меня к нему нет обуви.

– Ленка, это не красное – это цвет обезумевшей моркови, его можешь вообще выбросить, от этого цвета у нормальных людей нарушается пищеварение и другие функции организма. Что это у тебя там такое нежное, бежевое с голубым? Иди облачайся в это. Бежевое идеально подходит к цвету твоих волос, а голубое – к цвету глаз. Кто-то наконец тебя правильно покрасил, а то с цветом необузданного перманента ты была похожа на престарелую барменшу.

– Это мой парикмахер, правда, лучше стало? – Варька с нежностью гладит Ленку по соломенно-медовым волосам.

– Не то слово! На человека стала похожа.

– Вражеские силы обнаружены!!! – в этот момент с воплем врывается в кухню маленький пират. – Всем стоять! Руки на стол!

Ленка разворачивает Вовку за плечи, говоря:

– Все вражеские силы собрались в комнате твоего старшего брата, марш туда! – и удаляется в ванную примерять платье.

– Так, а Каменецкий-то что? По-моему, он холостой? – пользуясь Ленкиным отсутствием, пытаюсь я выяснить все обстоятельства этих головокружительных событий.

– Что-что? Ничего. Иначе с чего бы она так похудела? Она ведь еще, смешная, сырники ему свои знаменитые притаскивала, типа подкормить.

– Да ты что?! Вот это, конечно, жуткая стратегическая ошибка.

– Да брось, Айрат со своими ребятами их слопали за милую душу. А Степка ей сказал напрямую: «Тетя Лена, во-первых, готовить – это явно не ваше призвание, а во-вторых, пока я здесь, я – личный повар Каменецкого». Так что те сырники до Каменецкого так и не дошли. Ленка возмущалась ужасно, зуб теперь на Степку имеет, готовить почти перестала, да и есть, по-моему, тоже. Кормит теперь своих мальчишек полуфабрикатами. А те и рады, по-моему.

– Ну как? – Появившаяся в дверях кухни Ленка выглядела по-своему трогательно. Платье теперь действительно идеально подходило и к глазам, и к волосам, но слегка висело на ней, и это придавало ей какую-то трогательность и даже хрупкость, чего раньше в Ленкином образе заподозрить было совершенно невозможно.

– Тащи булавки, сейчас наживлю и ушьем. – Мы с Варькой полны женской солидарности – бороться до победного естественным женским оружием: очарованием и красотой. – И еще тащи какие у тебя шарфы, легковато у тебя платье для этого сезона, нужно будет шарф на плечи.

Ленка приносит булавки, нитки и иголки, но в глазах слезы:

– У меня нет шарфов, ни одного. Вот, наверное, кофточку можно будет надеть.

– Не реви, красавица. Кофточку – отставить, а лучше выбросить. Такие кофточки, Ленка, позорят женский гардероб. Принесу тебе завтра шарф, не переживай, у меня есть такого оттенка. – Мне неожиданно приятно видеть Ленку такой потерянной и нуждающейся в заботе. Вот и дожили мы до этого времени, когда можно уже не отбиваться, а жалеть, наряжать и плакать.

– Так, значит, ты будешь завтра? – хитро улыбаясь, спрашивает меня Варька.

– Куда она денется, – вместо меня почему-то недовольно отвечает Ленка, – ее там все ждут, даже Каменецкий уже про нее два раза спрашивал.

– И почему это я «куда денусь»? У меня могли быть свои дела.

– Ну конечно, сама эту кашу заварила, и теперь у нее «свои дела» откуда-то взялись...

– Ленка, будешь бухтеть, пришью тебя прямо к платью. Да, сама заварила, но теперь, как видно, каша отлично варится и без меня.

– Арина, брось, приходи. Интересно же, согласишься на них всех: Ингу увидишь, Степку с Айратом познакомишься, вот такой дядька, судя по всему! – многозначительно смотрит на Ленку Варька. – Даже Алик придет, он же у них главный благодетель этого безобразия. К тому же, ты шарф обещала принести.

– Я постараюсь, больше всего мне неудобно перед Елизаветой, я ее туда втянула, а сама устранилась, сейчас наживлю и пойду наберу ее, камеру обещала принести. Вы-то все давно в этой кутерьме варитесь, а она все-таки «на новенького», к тому же привозит иностранца.

– Да брось, «на новенького», как же! Она уже там свои порядки навела, – опять суровее Ленка, – с Каменецким спорила, молодая засранка, до хрипоты, из-за нее меняли план строительства несколько раз, потом оборудование влезать не хотело, за каждый сантиметр ругались, только Айрат их и мог разнять. Этой Лизавете твоей палец в рот не клади. Хотя она права чаще всего оказывалась. Но все равно, как можно было с таким человеком в таком тоне разговаривать?!

– Ленк, ты и вправду, видимо, очень в него влюбилась... – говорю я сквозь булавки в зубах, как мне кажется, слегка сочувственно.

У этой опять слезы градом:

– Ну как можно не влюбиться в такого человека, он же такой... (хлоп), такой... (непередаваемое выражение лица) ... и он же детям помогает! Как его можно не любить? Его же все любят! А у тебя просто нет сердца!

– У меня просто муж уже есть. Мне тоже кажется, что Каменецкий вполне себе хороший мужик, Степку когда-то спас, да и вообще, наверное, хороший врач и администратор.

– Ты не понимаешь!.. – Драматизм в голосе и растущая экзальтация делают все примерочно-пошивочное мероприятие слегка небезопасным.

– Слушай, красавица моя, у меня иголки во рту и руках, давай-ка это... не разворачивай драму. Она нам еще, как я понимаю, завтра предстоит. Твое дело стоять смирно и создавать мне благодушное настроение, ведь твоя жизнь и красота сейчас в моих трудолюбивых руках!

Я переживала. Придя домой поздно, уставшая и озадаченная, я все равно не могла долго заснуть. Муж за нашим поздним чаем убеждал меня:

– Не ходи. Не хочешь, не ходи. Ничего ты никому не должна. Ты и так тогда слишком втянулась в чужую историю. Теперь они отлично справляются без тебя. Лизавете днем позвонишь, подъедет к тебе на работу, ты ей передашь камеру и шарф. Хотя немного странно, что ты так от этой Инги напрягаешься. Ты же ни в чем не виновата перед ней...

– Я не виновата. Я, наверное, немного ее боюсь, потому что не очень понимаю. Сначала жалела, а теперь злюсь, да, злюсь еще... и наверное, сильно.

– А злишься-то чего? Ну хочет человек мучиться, пусть мучается, тебе-то что?

– Мне что? Ну во-первых, Степка...

– Но он ее сын, не твой.

– И что, у нее есть право подвергать его такой опасности?

– В каком-то смысле да. Она – его мать, и именно она за него отвечает. Как ты можешь решать за кого-то, как ему будет лучше и безопаснее? Помнишь, ты про Ленкину маму рассказывала в лицах, а сама...

– Так нечестно! Я не такая, как она!

– Ну ладно, ладно, ты – не такая. – Муж миролюбиво обнимает меня за плечи, что весьма успокаивает. Так все-таки важно, чтобы кто-то вовремя тебя обнял... – А во-вторых?

– Во-вторых... не знаю, почему-то не могу смотреть, как кто-то бездействует тогда, когда действовать совершенно необходимо.

– Для кого необходимо?

– Ну перестань-а-ань. Ну что ты меня мучаешь! Для меня необходимо.

– То есть твоя Инга должна сделать все, что ты ей предписала, только для того, чтобы тебя успокоить?

– Ну почему меня? Им самим же так будет спокойнее, если они решат жилищный вопрос и смогут защитить себя от дальнейшего насилия. Ведь так просто все! Разве нет?

Он только грустно улыбнулся, да, вопрос-то риторический, конечно, только грустно улыбаться и остается...

– Я решу завтра, после первой чашки кофе, не могу сейчас, уста-а-ала.

Уже совсем засыпая, я вспомнила одну давнюю детскую историю. Мне было лет, наверное, четырнадцать. В нашем классе был парень, как же его звали... то ли Леха, то ли Миха... Не помню, наверное, все же Леха. Он был умным, но немного странным. Он был один у матери, которая все время болела. Когда он засыпал на уроках, все ржали, как дураки. Мне всегда было за них неловко, за Леху немного обидно, потому что он знал-то точно больше, чем многие, особенно в гуманитарных науках. Если его вызывали на истории, даже отъявленные двоечники переставали возиться и начинали остолбенело вникать. Я с историей не очень дружила, и тот факт, что он мог рассказывать гораздо интереснее и понятнее, чем написано в учебниках, вызывал во мне восхищение и активный интерес к его персоне. Но просто так подойти и начать разговор не решалась, в подростковом возрасте все кажется таким сложным.

Как-то раз я подсмотрела в журнале его адрес, пришла в его двор, нашла каких-то девчонок лет десяти, увлеченно чертящих классики, и спросила:

– Вы Леху из такой-то квартиры знаете?

– Знаем-знаем, у него еще мама все время болеет, потому что папа у него пьяница и все время их бьет. Леха, как большой, ночами работать ходит, хочет денег заработать и уехать отсюда подальше, – сказала тогда мне та, что повыше.

– А моя мама говорит, что это эксплуатация детского труда и на его мать надо в суд подать, потому что Леха ребенок – и его дело в школе учиться, а не работать ночами, – заявила тогда другая.

– Но вообще-то он хороший, он моему братику велосипед починил – и вообще никогда не дразнится, – снова авторитетно заявила мне первая.

Потом в классе, когда все снова ржали, если он кемарил на уроках, я пыталась огрызаться: «Бандерлоги, хватит плумиться, у человека, может, обстоятельства!» Но меня особо не слушали. В авторитете в этом возрасте я отнюдь не была.

А потом все как-то внезапно закончилось трагедией. Мальчишки в классе стали над ним сильнее издеваться, я совсем не понимала почему. Потом как-то в школьном туалете я от девчонок из параллельного класса случайно услышала, что у них роман с Алиной из девятого – такая была особенная девушка, все ее знали, полшколы по ней вздыхало. Потом рассказывали, что он вместе с Алиной пришел к ним домой, маме лекарства принес, что ли, она вместе с ним зашла, а там отец, опять пьяный. Он ему и Алине, видимо, что-то грубое сказал, и у Лехи крышу снесло: он двинул ему, ударил, тот как-то неудачно упал и умер. Мать его обвиняла и ругала-корила сильно, Алина была в шоке и оставила его, наверное, испугалась. А он пошел и сбросился с 12-го этажа.

Я даже заболела тогда, не могла видеть, каждый раз приходя в школу, его портрет в траурной рамке. Вот этого Леху я и вспоминала, взбивая простыни собственной бессонницей в преддверии праздника открытия кухни и постепенно, но неуклонно надвигающегося на город Нового года.

Что такое предновогодняя Москва, любой москвич знает. Часто именно поэтому сразу после католического Рождества или незадолго до него те, у кого есть возможности и средства, покидают этот прекрасный город, чтобы не участвовать в предновогоднем безумии. Их место занимают гости столицы, приезжающие навестить тех, кто не смог уехать. И все эти люди несколько последних дней уходящего года заняты двумя самыми неподходящими для этого города делами: куда-то едут, создавая невообразимые пробки, или идут в магазины, создавая ощущение, что этот день, конечно же, и есть на самом деле последний перед концом света. Поэтому им всем становится просто необходимо купить всего, срочно, в разных местах и с запасом, опять же создавая и преодолевая многочисленные и немного взвинченные толпы трудящихся и гостей столицы.

Люди так «разогреваются», получают такую усталость и стресс, что новогодняя ночь для них становится настоящим праздником, а 1 января – самым замечательным днем в году, особенно для тех, кто решил с утра прогуляться или даже проехаться по вымершим и потому совершенно прекрасным улицам столицы. Для отчаливших за границы Родины соотечественников встреча Нового года, лишенная этой подготовительной суеты и необходимых атрибутов: салатов, гостей, советского шампанского и боя курантов, становится событием праздничным, но начисто лишенным московского колорита, с его одержимостью и новогодними ритуалами, отчего у них остается легкий привкус разочарования и какой-то незавершенности, и даже включенная на компьютере «Ирония судьбы...» не способна создать ощущение главного русского праздника.

А ведь есть еще такие мероприятия, как предновогодние корпоративы, как будто специально придуманные, как когда-то карнавалы в Венеции, для того, чтобы сбросить напряжение, накопившееся за год, и в течение нескольких часов нарушать рабочую, деловую и всяческую другую этику самыми заурядными или самыми затейливыми способами. Предстоящий праздник открытия кухни, к счастью, имел другой статус, но надежды на него разные участники предстоящих событий возлагали немалые.

Каменецкий хотел горячо отблагодарить Алика, Елизавету и Айрата за прекрасную идею, ее воплощение и дальнейшее сотрудничество, которое нужно было центру как воздух. Он впервые почувствовал, что он не «один в поле воин», что поначалу было странно, а теперь воодушевляло и он был готов легко делиться лаврами во имя расширения и укрепления его дела. Возможности, которые открывались ему в сотрудничестве, наполняли его энтузиазмом.

Алик был рад хотя бы на несколько минут увидеть Варьку, пусть даже в толпе. А также ему нравилось видеть хоть что-то конкретное, к чему он приложил свои усилия и средства. «Реальных» людей: детей-инвалидов, их замученных, но двужильных мам, настоящего мужика Каменецкого, которому легко и надежно давать деньги на благотворительность, Айрата, которого таким он раньше никогда не видел, Варькиных подруг, непосредственных участниц этой заварухи.

Ленка мечтала понятно о чем. Варька – уж не знаю... Вероятно, о том, чтобы насладиться кульминацией этой истории, в которую так рьяно втягивала ее в последние недели наша неугомонная подруга. Лизу, вероятно, воодушевлял сам проект и приезд любимого старика Энрике.

А вот зачем туда ехала я? Не находила ответа. Ехала просто, наверное, потому, что все они будут там. И втайне чего-то опасалась. Себя? Своего желания снова втянуться и получить горький отпор: «Это не твой ребенок и не твоя жизнь – не тебе решать»? Кто знает... Просто села в метро и поехала в ту сторону где-то за час до того, как должно было начаться мероприятие. Как будто если прийти заранее, то можно хоть немного привыкнуть, справиться с собственными тревогами и смущением.

Не удержалась, зашла в книжный – успокоиться, купила Степке «Повелителя мух» в подарок, завернули в красивую красно-зеленую обертку, Новый год все-таки. На то, чтобы купить подарки всем, у меня явно не хватало сил и задора. Разрешила себе не мучиться и сделать ровно столько, сколько могу.

К калитке я подходила со страхом и тоской. Видимо, та трещина моей обиды и боли разъединила меня с ними всеми.

Шаг... Еще шаг. Я понимала, что больше всего боюсь зайти туда и оказаться для них совершенно чужой, неуместной, ненужной. Пока я предавалась сомнениям и раздумьям, уже держась за ручку входной двери, она вдруг внезапно отворилась, почти сметая меня с крыльца. Большое Андрюшино тело закрыло мне обзор, его крепкие руки подхватили меня, не давая мне упасть (реакция у него что надо – вот что значит спортивное прошлое!), широкая улыбка согрела и придала мне сил.

– Эв Еич, Ына де! – прорычал великан.

– Лев Андреич, Арина пришла! – радостно подхватила девушка-администратор, переводя Андрюшу и замечая меня на пороге.

– Арина, проходите, сердечно рад видеть вас, опасался, что вы закрутитесь с вашими делами и не придете. Я так рад, что вы все-таки нашли возможность посетить наш праздник! – Каменецкий душевно трясет мне руку, помогая снять шубу.

– Тепа, Ына де! – кричит куда-то Андрюша и уходит.

– Куда это он? – спрашиваю я Каменецкого, мне жалко расставаться с Андрюшей и его улыбкой.

– Вернется скоро, только еще двоих привезет. Степка уже с утра здесь, по-моему, ночь не спал, перевозбужден уж очень.

В это время с кухни выезжает сам герой дня, раскраснелся, глаза горят.

– Здорово, что вы пришли. Вы должны это увидеть! Пойдемте, я вам все покажу! Там, в музыкально-спортивном зале мы накрыли фуршет. Я не стал сам печь корзиночки, боялся, у меня времени не хватит, поэтому корзиночки из магазина, но начинку я сам придумал. И остальные канapé тоже. У нас, конечно, не совсем такие продукты, как в Италии, и я переживаю, что синьору Энрике не понравится.

Степка ведет меня в зал, где я вижу нескольких женщин, в том числе Ингу, развешивающих гирлянды, двух девочек в колясках, одну на ногах, но со странно висящими рукавами праздничного платья. Инга оборачивается вполоборота, и я киваю ей, легко машу рукой. Она тоже отвечает мне кивком, но точного выражения ее лица я не вижу, Степка продолжает трещать:

– Сначала все будут есть закуски, ну те, кто не хочет участвовать в уроке, а потом приедет синьор Энрике, и мы приготовим вместе что-то по его рецепту, а потом принесем это сюда и будем угощать остальных гостей. Но я понятия не имею, что будет в меню, потому что Елизавета сказала, что сначала они едут на рынок, синьор смотрит, что есть у нас из сезонных продуктов, все там покупают и потом приезжают...

В это время мы слышим оглушительный грохот.

– Вот же черт! Я же говорил, что этих ужасных детей нужно немедленно выставить с кухни!

Степка резко разворачивается, мы выезжаем в коридор, там появляется пунцовая Ленка с выражением лица: «этим двоим пришел необсуждаемый и безоговорочный конец», толкая в спины и поочередно отвешивая подзатыльники своим архаровцам – Вовке и Игорехе. Младший слегка присыпан мукой, как будто готов к выпечке. Судя по ее грозному и одновременно смущенному виду, праздник может в любой момент превратиться в детоубийство, причем выражение Степкиного лица говорит, что он бы его одобрил, а то и поучаствовал.

Выручил ее Каменецкий, который подошел к этой троице, попытался сдуть муку с Вовкиного лица, это у него не вполне удачно вышло, потому что малый вспотел и мука к нему крепко пристала. Потом сказал:

– Вы, юнга, сейчас пойдете вот в эту комнату и умоетесь, а потом вместе с вашим энергичным братом пойдете в сенсорную комнату.

– Это еще что за хрень такая? – прерывает его очень радостный и все еще готовый к дальнейшим приключениям Вовка, пытаясь сдуть со лба тяжелую мучную челку.

Ленка в это время из красной превращается в молочно-белую, отвешивает традиционный подзатыльник и упавшим голосом задает самый бессмысленный вопрос:

– Как ты со Львом Андреевичем разговариваешь?

– Это такая комната, в которой можно делать все, что угодно, и ничего не разобьешь. Там нет ничего, что вы могли бы повредить или разбить. Зато много интересного. Я вам все покажу. Вы с братом будете ее испытателями, – отвечает Каменецкий мелкому. – А вы, Елена Викторовна, не переживайте, с вашими мальчиками будет все в порядке. Там им ничего не угрожает. Это такая специальная комната...

– Им-то вряд ли, они ж луженые у меня, а вот комнате... Лев Андреевич, я за комнату боюсь, может, не стоит?

Каменецкий берет и того, и другого за руку, отводит умываться и потом куда-то дальше по коридору.

В это время Ленка вспоминает о том, что она все же умеет дышать, поворачивается ко мне и шипит почти с отчаянием:

– Я знала, что они мне все испортят. Но дома всех троих оставлять нельзя. Всегда хотя бы одного надо брать с собой. Вот зачем я, идиотка, взяла двух? Вот ты скажи, зачем?!

– Не переживай ты так, Лен. Ты же видишь, он нормально к этому относится. Он же детский врач, детей лечит, ты чего? Вот шарфик возьми, я тебе принесла. Ты здесь как, не мерзнешь?

– Я?! Да я вообще ничего не соображаю уже. Пойдем, хоть с Айратом тебя познакомлю. Или подождать, когда Он вернется? – Ленка заглядывает через мое плечо в глубину коридора.

– Ну перестань, пойдем, покажешь эту знаменитую кухню. – Я тяну ее, хотя куда идти, не очень понимаю, во всяком случае, в обратную сторону от того, куда удалился ее главный герой.

Степка уже давно впереди нас – ринулся узнавать про масштабы нанесенного ущерба. Но ничего страшного, видимо, не произошло. Вовка, забираясь куда-то наверх, как маленькая обезьянка, сшиб сверху банку с мукой, она повлекла за собой металлическую, но не тяжелую посуду, и все это свалилось с грохотом на кафельный пол, который мукой в настоящий момент и был усыпан. Кто-то из рабочих пытался подмести просыпанную муку. Посуду с грохотом весьма энергично собирал и бросал в раковину пожилой, небольшого роста армянин, что-то бормоча себе под нос на родном языке.

Кухня была просторной, в середине все пространство разрезал длинный стол, несколько более низкий, видимо, точно рассчитанный на детей в колясках, по бокам – оборудование и всякие шкафы.

Степка, видя, что с последствиями нападения диких детей на его драгоценную кухню справились, начал махать руками:

– Вот, смотрите, Арина, это наш холодильник, это жарочная панель, это духовой шкаф, это все старое, а вот гриль нам Лиза купила новый! Еще у нас...

– Подожди тараторить, парень! Айрат, познакомься с Ариной, моя подруга, которая все это затеяла. – Ленка подводит меня к армянину.

– Приятно, Арина, этот мальчик тут... сделал все это, но он нечаянно, она не виновата, – почему-то оправдываясь передо мной, старый прораб тепло и весьма экспрессивно тряс мне руку.

– Да я знаю, Айрат, и мне приятно познакомиться, я знаю, что нечаянно. Не переживайте. Я могу помочь вам убрать.

– Не надо, мы сами. И ты, малой, не волнуйся, ничего он не разбил, сейчас все будет, как раньше.

– Я сама уберу, а ты иди встречай, слышу Варькин голос, – по-деловому скомандовала Ленка.

Люди прибывали. Вечер набирал обороты. Гостей приглашали в зал, там звучала музыка, разговоры. Лиза с Энрике тем временем где-то накрепко застряли в пробках. Канapé стремительно таяли. Степкино волнение переходило в иступление, он требовал послать кого-то в магазин. Ему мерещилось, что не хватает угощений, рвался сам еще что-нибудь быстро сготовить, обрывал телефон, без конца названивая Лизе. Каменецкий успокаивал его, как мог, но у него не очень получалось. Ленкины дети носились между детками на колясках, музыка заглушала вопли мелких детских потасовок. Алик что-то вещал Варьке, внимательно его слушающей.

Ленка, как радар, всегда поворачивалась в сторону своего героя. Мы с Ингой как бы случайно оказывались в разных местах зала. Эраст Генрихович задумчиво жевал канапе, уткнувшись в свои телефоны, и был единственным, кто своим лоценым видом и полной сосредоточенностью не очень вписывался в антураж.

В какой-то момент, подняв глаза и увидев меня, он, возможно, обрадовался наличию еще хотя бы одного знакомого лица в этой кутерьме, стал протискиваться поближе и, повышая голос, иначе было бы не докричаться, склонился к моему уху:

– Что же вы не приходите?

– Не прихожу куда? – ору ему в ответ.

– К нам, я собрал данные, вы же просили, я делал запросы.

– Это не для меня. Это для Инги, давайте выйдем, я ее позову, вы ей расскажете.

Мы протискиваемся к выходу, по пути я прошу девочку со странными руками:

– Ты знаешь Ингу? Попроси ее, пожалуйста, выйти в коридор, нам нужно с ней поговорить.

Варька с Аликом, видя, что мы выходим, тоже начинают протискиваться к выходу. Почти одновременно мы оказываемся в коридоре.

– Так вот, насчет гражданина Кривцова, про которого вы спрашивали... – начинает юрист хорошо поставленным голосом.

– Не здесь, – резко обрывает его Инга, вышедшая из зала, – идемте на кухню.

Все начинают перемещаться в сторону кухни, я, как зачарованная, иду вместе со всеми, хотя мне отчаянно хочется сбежать: настолько ясно я вдруг осознаю, что все это – совсем не мое дело. Но какое-то странное чувство помогает мне двигаться в сторону кухни: я должна отвечать за последствия той каши, что заварила, втянув в эту историю столько разных людей.

– Вы уверены, что мне нужно рассказать это сейчас, здесь, при всех этих людях? – резонно заметил Эраст Генрихович. Инга была в явном замешательстве, но мне уже не хотелось приходить к ней на выручку.

– Конечно, рассказывайте! Вот еще! – Ленка стоит в дверях, подбоченившись. – Мы тут крутимся во всей этой истории столько месяцев. И знать не будем? Как же! Рассказывайте, что вы узнали об этом подлеце!

– Вы вправе распоряжаться своей жилплощадью по улице такой-то, – повернулся Эраст к Инге, – проводить любые операции с вашим недвижимым имуществом после получения свидетельства о праве на наследство. Ваш бывший супруг, гражданин Кривцов, прописан и является одним из собственников квартиры в городе таком-то, где с такого-то года проживал вместе с матерью. В данный момент находится в розыске и под следствием, в связи с возобновленным расследованием в силу полученных дополнительных показаний по делу об умышленном убийстве его матери Кривцовой Алевтины Андреевны.

По предварительной версии следствия, подследственный Кривцов, ранее неоднократно судимый, находясь в сговоре с сожительницей Воробьевой, надеялся, инсценировав смерть матери, завладеть правом распоряжаться жилплощадью, думая, что квартира перейдет ему в наследство в его полноправную собственность, но не учел или не был информирован о том, что гражданка Кривцова оставила завещание, в котором свою долю собственности завещала внуку. Квартира в Москве по адресу такому-то, чьим единоличным собственником также является гражданка Кривцова, по завещанию также переходит в собственность Можелевского Степана Сергеевича.

– Я что-то не понимаю, он что, получается, убил ее? Собственную мать? – Инга блее мела.

– Такова версия следствия. Не получив желаемого, гражданка Воробьева, находясь в нетрезвом состоянии, дала показания против своего сожителя, которые потом, протрезвев, подтвердила, сославшись на то, что в местах временного задержания будет в большей безопасности.

– Только не надо, чтобы Степка об этом узнал. – Инга умоляюще смотрит на всех нас.

– О чем это я не должен узнать? – Тот появляется в проеме двери.

В кухне воцаряется молчание. Такой густой коктейль из эмоций присутствующих, хоть топором руби.

– Эээ, как это он нэ будэт знать о своем отце?! Ты в своем уме, женщина?! – Айрат, оказывается, вышел из подсобки, пока Эраст докладывал о событиях. – Пусть знает, и ты глаза уже открой, кого в дом впускаешь! Пусть лечат его там, в тюрьме этой! Почему не лечат? Как можно женщину пальцем трогать, э-э? Пусть только явится еще, звони сразу мне, я Саро позвоню, он всех наших соберет, объясним ему, как нужно с женщиной разговаривать!

В это время в кухню вваливаются поочередно Андрюша с большим количеством пакетов в руках, Лиза с Васюткой за руку и Энрике, растирающий свои покрасневшие от холода длинные пальцы. Выражение Степкиного лица сменяется от растерянного к радостному и серьезному одновременно. Он, вероятно ощущая себя хозяином этого мероприятия, требует, чтобы все «посторонние» немедленно удалились до окончания совещания и начала кулинарных уроков. Я, прихватив Васютку (как он подрост, наш птенчик!), вместе с остальными удаляюсь из кухни.

Когда мы снова входим в светлый зал, я замечаю, что Инга все еще страшно бледна, но сама к ней подходить не решаюсь, толкаю Варьку:

– Как думаешь, она в порядке, или ей капель каких накапать?

– Пойду-ка я выведу ее на воздух, если что, попросим у Каменецкого нашатырь.

Она подхватила Ингу, а я осталась отбивать Васютку от настойчивых предложений Вовки не очень ясного содержания: «Ты, парень, пойдем зарубимся! Спорим, я тебя завалю!»

Наш птенчик, внимательно оглядывая праздничный зал, в какой-то момент подергал меня за руку, чтобы я наклонилась.

– У некоторых детей здесь больные ноги, поэтому они на колясках, а у некоторых ручки такие скрюченные. Им, наверное, бывает очень больно, но они все улыбаются, потому что у них есть мамы и они их любят. И еще потому что они могут быть все вместе. А когда вместе, тогда все можно преодолеть, правда?

– Правда, солнце мое. Ты, как всегда, точно все понял.

– Внимание все! – Степка остановил музыку. – В связи с тем, что сегодня урок синьора Энрике сократится ввиду позднего прибытия синьора, мы будем готовить только итальянские закуски. Завтра с утра он даст еще один урок, а сейчас прошу девочек из кулинарного кружка и всех желающих пройти на кухню, к разделочным столам. Точнее, конечно, не всех желающих, а тех, кто поместится на кухне. Всем остальным тетя Лена и Айрат сейчас вынесут еще напитки. Веселитесь!

Я отдала свою камеру Алику и сопроводила его снимать происходящее. А сама осталась в зале с Васюткой, несколькими ребятами и их мамами. Девочки все стали перемещаться в сторону кухни, даже те, чьи ручки не позволяли им участвовать. Васютка потянул меня к мальчику, скрюченному болезнью, его тело кособоко покоилось в недрах кресла, а глаза смотрели на нас с таким интересом и дружелюбием, что невозможно было не ответить ему улыбкой.

– У вас тоже атрофия? – спросила я его маму. – Я – Арина, кстати, а это Васютка.

– Нет, у нас ДЦП. – Женщина улыбалась нам устало, но приветливо. – Я – Наталья, а это Егор. Конечно, я вас знаю, вас тут уже все знают, Степка столько о вас рассказывал. Нам уже восемь, а вам сколько?

– Это Васютка, он не мой сын, он сын Елизаветы, ему пока еще семь недавно исполнилось. А где же ваши папы? Столько мам, а пап почти не видно.

– Наш ушел от нас, когда Егорке еще годика не было... Здесь много таких. Мужчинам часто не нужен ребенок с болезнями или ограничениями. Кто-то сразу уходит, кто-то позже, не выдерживая. Есть такие, что еще и женщин обвиняют в том, что дети рождаются или становятся больными. Хотя хорошие папы у нас тоже есть: у Сергеев, Кашинцевых, Скубянских. Скубянские просто уже за границу на праздники уехали, у Сергеев папа в командировке, не успевает вернуться, а у Кашинцев где-то здесь, я его видела. Мироновы еще есть, но они увезли своего на лечение.

– И как же вы? Тяжело, наверное?

– Тяжело. Особенно когда ты одна, то тяжело, а если не быть одной, то ничего. Дети все же. Дети – это радость. Согласны?

– Согласна. Просто больной ребенок – это трудно, мне кажется.

– Ну конечно, трудно. Только уверяю вас, что любишь его не меньше, чем здоровых детей, у меня же еще двое. Егорка самый младший. Конечно, рожаяешь и никогда не ждешь беды. Но потом, когда беда приходит, ищешь все возможности, чтобы выбраться из нее. Спасибо Каменецкому за этот центр. Без них было бы тяжелее...

– А он давно существует, этот центр? И как люди узнают о нем?

– Нам в поликлинике одна женщина сказала. Так и узнают, я думаю. Мы здесь уже пять лет. До этого времени они работали вдвоем: Каменецкий и его жена – Светлана Сергеевна. Она тоже врач – замечательный детский невропатолог. Без нее нам теперь трудно.

– А что с ней случилось?

– Умерла. От рака. Двужильная была, оба всегда на работе. Не замечала, видимо, ни боли, ни усталости, потому что когда рак обнаружили, оказалось, что четвертая стадия и ничем уже не помочь. Она ушла за месяц.

Говорят, что врачам особенно трудно, когда их жены от болезней умирают. Слишком много вины. Мы за Льва Андреевича очень переживали. Он как будто никак не мог понять, что произошло, поверить не мог. Говорят, что у них когда-то сын был с быстро прогрессирующей атрофией, умер еще до того, как в школу пойти. Лет пять или шесть ему было.

Когда наша Светлана Сергеевна умерла, Лев Андреевич ходил тогда, как будто он целым миром оставлен: такой одинокий и такой потерянный... Вот, кстати, ваш знакомый Степа его и вытащил. Когда они с Ингой пришли в центр, Каменецкий ожил как будто бы, бросился его спасать. Может, он ему его сына напомнил, так говорят. Но зато снова включился в работу, стал прежним. Хотя без такой жены, как Светлана Сергеевна, думаю, тяжело ему. А нам без такого детского невропатолога. До сих пор, говорят, не могут найти в штат никого похожего. Ездим консультироваться к другим, куда Лев Андреевич направит.

Грустно мне было слышать всю эту историю, но что-то подобное в прошлом Каменецкого я подозревала. Стало понятно, что у Ленки нет никаких шансов. Однако любовь самоценна, даже если она невзаимна. Она – великий преобразователь всего. Любовь и смерть, с которой Ленке пришлось столкнуться за последний месяц, очень изменили ее. В чем именно была перемена – так сразу и не скажешь, может быть, просто больше в ней появилось живого, человеческого.

С кухни вскоре начали возвращаться в зал люди, девочки гордо держали на коленях блюда с красивыми закусками, их мамы помогали расставлять блюда на общих столах. Степка прирулил почти последним: запаренный, красный и совершенно счастливый.

– Пришло время сказать слова, – начал Каменецкий, – а все в нашем центре знают, что я не люблю долго говорить. И потому я скажу только самое важное: бесконечно благодарен всем вам за щедрость вашего сердца, за то, что благодаря вам всем я не один.

Он замолчал и немного растерялся, не зная, что дальше делать с микрофоном, но Лиза взяла микрофон и дальнейшее действие на себя:

– Предлагаю вам насладиться прекрасными закусками наших девушек, выполненных под руководством повара Степана Можелевского и шеф-повара синьора Энрике.

Предложение было встречено бурными аплодисментами.

– Но это еще не все, – продолжила Лиза, – пока вы угощаетесь, что, уверена, будет сделано с большим аппетитом, я предлагаю каждому, у кого в руках окажется микрофон, ответить на вопрос: «Что для меня самое важное?» Краткая речь Льва Андреевича натолкнула меня на эту идею. В уходящем году и в преддверии нового года так важно поделиться с друзьями тем, что ты считаешь важным.

Я могу начать. Для меня самое важное – поступать так, как когда-то задумал, какой бы странной или невыполнимой ни казалась идея.

Степа: «Для меня самое важное – мочь, иметь возможность».

Девочка без ручек: «Для меня – когда мама рядом».

Девочка на коляске: «Чтобы я могла ходить».

Мальчик на коляске: «Чтобы не было больно и не расстраивать маму».

Другой мальчик на коляске: «Я бы хотел мочь стать футболистом».

Энрике (в переводе Лизы): «Быть таким нужным и таким счастливым учителем, как сегодня».

Алик: «Быть именно там, где ты должен быть».

Айрат: «Никогда больше нэ видеть слез любимой жэнщины».

Один из его рабочих: «Слышать, как мой дед поет, дай Бог ему здоровья».

Девушка-администратор: «Стать врачом, как Светлана Сергеевна и Лев Андреевич».

Наталья, мама Егора: «Видеть, как улыбаются мои дети».

Андрюша: «Быть ами» («Быть с вами» – перевела девушка-администратор).

Ленка (долго молчала и мучительно краснела, Вовка стал ей даже подсказывать – оглушительно шипеть: «Скажи, что хочешь стать космическим пиратом!»): «Самое важное быть с тем, кого любишь и кто тебя никогда не покинет».

Вовка (оглушительно): «Стать космическим пиратом!»

Варька: «Жить. Выигрывать у смерти».

Инга (тоже мучительная пауза, и дальше тихо, почти шепотом): «Знать, что есть тот, кто тебя защитит и всегда будет за тебя».

Васютка (негромко, но уверенно): «Самое важное, чтобы у каждого человека был дом, где его любят и ждут. Чтобы детдомов больше не было на свете. И еще я хочу сказать, что если бы я был президентом и раздавал награды, я бы дал их мамам: моей и этим».

Бурные аплодисменты и какие-то правильные, завершающие Васюткины слова освободили меня от необходимости продолжать коллективную речь, что было более чем удачно, потому что я затруднялась ответить на этот вопрос.

Возвращаясь домой в полупустом метро, в компании редких граждан, среди которых попадалась веселая молодежь, крепко спящие либо криво стоящие мужчины, показывающие всем своим видом, что они ну совершенно трезвы, я все думала над вопросом. Что для меня самое важное? Ответ гнездилился внутри, но сложно облекался в слова. Наверное, самое близкое – «быть настоящей, ощущать свою настоящесть и собственную жизнь, что протекает не мимо меня, а через меня, происходит со мной каждый день, час, год, минуту, сегодня».

– А что для тебя самое важное? – задаю я вопрос своему мужу, подробно описав ему все, что происходило в этот полный событиями вечер, запивая разговоры зеленым чаем.

– Для меня – быть свободным, ощущать себя хозяином собственной жизни. А что, у тебя есть прямая связь с Дедом Морозом, ты ему передашь, и все сбудется? Или тебе для этого сначала нужно поехать в Лапландию, спасти по дороге какую-нибудь небольшую вымирающую этническую группу, состоящую из затерянных во льдах чукчей, потом немногочисленную и находящуюся под угрозой исчезновения популяцию каких-нибудь редких голубых остроухих моржей, а потом...

– Что ты болтаешь, нет там никаких чукчей и остроухих моржей, у них вообще ушей нет!

– Вот-вот, и то радость, а то бы непременно спасла!

Ей снились пустыня и шар под ее ногами.

«Как же трудно жить на шаре, – думалось ей, – все время держи равновесие, ни отдохнуть, ни лечь, ни ощутить под собой землю. А чтобы достичь соседнего селения, сколько мне нужно до него катиться? Я же так и к вечеру не успею! И жарко, и хочется пить».

Вдруг возле нее появляется мальчик лет, наверное, пяти-шести, протягивает ей руку:

– Сойди. Просто сойди с шара.

- Я не могу, мне нельзя. Мне можно только так. Только на шаре.
- Почему?
- Так я почти не занимаю места на Земле.
- Но ты же есть. Ты же уже есть. И значит, место на Земле для тебя тоже есть. Сойди.
- Мне страшно.
- Чего ты боишься?
- Что это будет слишком просто – ходить по земле. Я не привыкла. Я разленюсь.
- Тебе будет некогда лениться. У тебя появится столько возможностей, что ты не захочешь. Вокруг так много интересного.
- Никто не заберет у меня мой шар?
- Нет, конечно, вдруг тебе когда-нибудь захочется побаловаться и представить, что ты – юная акробатка.
- А вдруг я не смогу ходить, я уже не помню: как это.
- Я буду рядом, и ты вспомнишь.
- А откуда ты взялся?
- Ниоткуда, я всегда был.

Эпилог

Почти на полгода я потеряла их всех из виду. Моя собственная жизнь закрутила меня, встряхнула, привела в чувство и снова закружила. Лишь к лету я вновь услышала отголоски той истории. В одну душную, усыпанную пухом июльскую неделю Варька позвала меня к ним на дачу – отметить два дня рождения сразу: ее и младшего сына. Под аромат и шипение щедро приправленных специями шашлыков, запивая их «Риохой», уплетая свежие дары лета, я узнавала новости.

Инга так и продолжает жить в доме на Ставропольской. Еще два раза лежала в больницах. К счастью, не с побоями. Бывший муж наведывался еще два раза, открыть не открыли, но нервы всем потрепал. Удавалось запугивать его тем, что все в курсе, что он объявлен в розыск.

Андрюша женился на девушке-администраторе, она поступила на медицинский в другом городе, и они уехали вместе.

Проект «Кухня» пока прикрыт, Степке из дома трудно выбираться.

Алик вернулся в свой Страсбург, но по-прежнему мечтает о России.

Центр Каменецкого пытались закрыть, было выиграно несколько сложных юридических битв (спасибо Эрасту Генриховичу).

Ленка временами подрабатывает ремонтом, раз за разом отклоняя настойчивые предложения Айрата «сделать ее окончательно счастливой женщиной».

Самой Варьке предложили возглавить отделение, она отказалась, не захотелось иметь «административный геморрой».

– Ну а ты сама-то как? – улыбается она мне. Отблески костра высвечивают ее медные пряди, рядом с ней по-прежнему спокойно и просто. Комары уже изрядно надоели, но в дом заходить нет никакого желания, хочется сидеть вместе, болтать, ворошить угли, подбрасывать новые поленья, пытаться восхищенным взглядом удержать закат.

– Я, Варь, пошла к психологу.

– Это еще зачем? Ты же здоровая!

– Видимость это. Я прекрасно умею дурить саму себя и всех вокруг. Я замечательно умею делать вид, что у меня все совершенно в порядке. Тебе не передать, как я в этом преуспела и как от этого устала.

– И как? Помогает?

– Очень, – улыбаюсь. – Особенно от привычки заниматься чужими проблемами. Своих, как оказалось, хватает.

– Ну и... поменялось чего-нибудь?

– Поменялось? Не знаю... Перестала делать вид, что у меня все расчудесно. Это большое облегчение. Так трудно, оказывается, Варь, стараться быть не тем, кто ты есть. Просто ужас как трудно.

А сейчас жить становится интереснее, сложнее, уходят иллюзии, фантазии, появляюсь сама у себя. Не смотри на меня так, я знаю – это трудно объяснить. Внутри вдруг обнаруживаются цистерны слез, столько тревоги и напряжения, что ими можно было бы залить небольшое европейское государство. Но оказывается, их можно выплакать, освободиться.

Потом вдруг понимаешь, что внутри тебя есть кто-то, кто отчаянно нуждается в твоей помощи, внимании, понимании и участии, – ты сам. Этот кто-то и есть самый важный человек для тебя. Потому что не будет тебя – не будет ничего, все закончится, потеряет смысл. И тогда уже никому не сможешь, ничего не совершишь...

Вот так и учусь жить заново, просто ходить по земле. Моя жизнь теперь прекрасно банальна и состоит из мелких радостей: сейчас из радости ощущать тебя рядом со мной, любоваться этой июльской ночью и красками затухающего костра. И ничего для этого не нужно. Просто счесть это важным и достаточным.

Тирания прошлого никогда не бывает столь сильной, как в момент, когда мы забываем, что прошлое не мертво... Оно даже не прошлое.

Непросто начинать разговор об этих особенностях характера. И уж тем более говорить о них как о нездоровых, патологичных. Хотя бы потому, что для нашего российского и постсоветского пространства эти особенности – вездесущи, общеприемлемы. Поэтому я буду говорить о мазохизме как об адаптационном механизме (чем, собственно, и являются первоначально механизмы психологических защит, которые впоследствии становятся особенностями характера).

Мазохистом в общепотребительном, бытовом смысле слова чаще всего называют человека, любящего получать сексуальное удовольствие от проявленного в его адрес насилия. С точки зрения психологии мазохист – это человек с определенными и достаточно сложными моделями отношения к самому себе и миру. Каковы эти модели, попробуем разобраться.

В любом из нас могут обнаружиться мазохистические черты. Во многом потому, что мы являемся продуктом, следствием той эпохи, в которой росли. Многовековая садо-мазохистическая история развития западной цивилизации, в общем, и нашего государства, в частности, не могла не повлиять на национальные психологические особенности. И потому предлагаю обнаруживать их в себе без смущения и стыда, ибо стать иными нам было почти невозможно.

В ком-то из вашего окружения вы также заметите эти черты. Но другого за руку тащить к психологу не стоит. Всегда лучше начинать с себя: попытаться узнать о том, как устроены ваши защиты и адаптационные механизмы, найти их в себе, назвать, а может, пойти к психологу и начать разбираться с ними всерьез. Потому что каждому сначала стоит взять ответственность за то, каким он стал. Далее – захотеть сделать что-то с собой и своей жизнью. Пойти на риск установления новых отношений с психологом. Выдержать последствия честного взгляда на себя и далеко не всегда воодушевляющих открытий. Освободиться от прежних, привычных отношений с миром и с собой. Открыть для себя новые способы бытия.

1. Привычка терпеть и страдать

Вы, наверное, часто встречали людей (среди старшего поколения таких особенно много), для которых телесный или душевный дискомфорт – совершенно не повод для перемен, не повод для действия. Они привыкли не обращать внимания на свое состояние, на боль, холод, усталость. Они могут мерзнуть, голодать, терпеть боль, но при этом не способны не только что-то предпринять для устранения дискомфорта, но даже заметить эти малые признаки надвигающегося или уже имеющегося собственного неблагополучия. Лишь очень сильный и явный симптом: предельная усталость, непереносимая боль, острый голод – может стать для них сигналом к тому, чтобы позаботиться о себе или обратиться за помощью.

Они любят работать до седьмого пота дома, на службе, на даче, забывая об отдыхе, не замечая болей в спине, коленях, обгоревшего на солнце лица, вкладывая все свои, часто не такие уж великие силы во все, что делают. В борьбу с пылью, которую побороть невозможно. В работу, пытаюсь переделать все, чтобы быть «на хорошем счету» у начальства. В детей, которые от их заботы становятся только еще более инфантильными и капризными. В прихотливую клубнику или гниющую потом в закромах картошку.

Даже если вы решите позаботиться о таких людях и предложите отдохнуть, поесть, прекратить работать; панамку, еду, гамак – вообще хоть что-нибудь, относящееся к понятию «минимальный комфорт», то ваша забота будет скорее всего отвергнута со словами: «Ничего, я потерплю». А в худшем случае вы подвергнетесь обвинениям и услышите встречное предложение «перестать бездельничать и заняться делом».

Для чего мазохисту нужно терпеть и страдать? Прежде всего для того, чтобы получить любовь и признание – как и многим другим людям. Но зачем идти таким сложным путем, и почему необходимо при этом страдать? Чтобы ответить на эти вопросы, надо вернуться к истокам, понять, как все начиналось.

Когда-то ребенок пришел в этот мир с желанием быть замеченным, признанным, принятым, с надеждой и намерением проявлять в этом мире свою волю и свои желания. Если такой ребенок появляется в семейной системе, где родители (или один из них) не готовы к тому, чтобы растить живое существо, обладающее своими предпочтениями, мотивами, чувствами, желаниями, то они могут, например, сделать все, чтобы ребенок перестал «подавать признаки жизни». Не убить, конечно, но вытравить в нем желания, проявления, волеизъявления. Ребенок в таком случае становится минимально «живым», максимально управляемым, функциональным, ничего не требует, не хочет, делает что говорят, не возражает, не имеет собственного мнения и ощущения самооценности. Тем самым он пытается сделать хоть что-то, чтобы в итоге стать замеченным, любимым, признанным, чтобы начать жить.

Настолько обыденно, насколько парадоксально с точки зрения психологии звучат типичные родительские комментарии и требования: «Сходи в туалет сейчас, а то в дороге не будет возможности»; «Пить хочешь – терпи. Все же терпят, и ты терпи»; «В тихий час дети должны спать. Быстро закрыли все глаза и спим»; «Что значит – "писать хочу"? Ты же час назад уже писал!».

Нельзя в туалет во время урока – все начнут проситься; нечего капризничать – самим плохо; всем неудобно в автобусе – жизнь такая; больно зуб сверлить без анестезии – терпи, все же терпят; учительница кричит и унижает тебя на весь класс – значит, заслужил; хочешь что-то сказать – закрой рот, тебя не спрашивали; есть не хочется – ешь давай, для тебя ж старались, готовили; хочешь поступить по-своему – не смей перечить, взрослых надо слушать...

И еще множество примеров, показывающих мазохисту с раннего детства, что его желания (часто естественные, витальные – есть или не есть, пить, ходить в туалет, чувствовать себя в безопасности) не важны, что их ценность весьма относительна и чаще всего значительно ниже ценности чужих желаний, предпочтений и потребностей. Такое игнорирование витальных потребностей является проявлением садистической составляющей, которая всегда работает в паре с мазохистической.

В результате мазохист, чьи желания и потребности все время попираются, откладываются на «потом», отодвигаются на бесконечно долгое время, приучается терпеть. Он перестает ощущать свою априорную человеческую ценность. В ряду чьих-то желаний и потребностей его собственные будут стоять на последнем месте. Он разрешит задуматься о себе только после того, как всем окружающим уже стало в значительной степени комфортно и приятно (как ему кажется). Причем даже тогда скорее всего он разрешит себе и другим лишь минимальную заботу о себе, житейский минимум, чтобы не умереть прямо сейчас.

Несмотря на собственную униженность, ему все же хочется стать ценным и важным, в том числе для своих родителей. Но поскольку ему никак не удастся получить этого долгожданного признания, то глубоко внутри он

начинает гордиться хотя бы тем, сколько страданий он может вынести, как замечательно умеет терпеть, каким функциональным и удобным может быть, как далеко может уйти от идеи жить для себя и насколько самоотверженно посвятить свою жизнь служению другому. Как правило, то единственное признание от родителей, которое он получает за все свое детство, – похвала за долготерпение, служение и отказ от своих «эгоистических» желаний – лишь подкрепляет его мазохистический выбор. Хотя при этом заветное «разрешение на свою жизнь» или «премия за выслугу лет» по прошествии десятилетий, к сожалению, так и не бывают получены. Потому что уже выросшему мазохисту бывает очень трудно заниматься собственной жизнью, он ищет и находит тех, кого ставит в приоритет; служение и подчинение таким людям кажутся ему естественными.

Именно этого от него ждали, именно это активно транслировали ему родители: «Ты со своими проявлениями жизни (голодом, желаниями, капризами, чувствами) нам неудобен. Вот когда ты научишься вместо того, чтобы хотеть чего-то для себя, жить для других (прежде всего для нас), тогда и приходи, будем тебя любить». Поскольку без любви или хотя бы надежды на любовь ни одному ребенку не вырасти, то ничего не остается, как приспособиться сначала к родителю, а потом и ко всему остальному миру самоотверженным служением другим и отречением от себя, самолишением.

И в результате выросший мазохист будет «загибаться» на даче или на работе, чтобы другие оценили его подвиг и наплатили его ответной любовью и признанием. Вот только люди часто не хотят возвращать им любовь, поскольку в отличие от их родителей не ждали от них служения. Собственные дети почему-то (к большому недоумению и обиде мазохиста) говорят: «Давай еще!» Или: «Мы тебя не просили! Лучше бы ты не губила свое здоровье на этой даче! Мы эту клубнику лучше на рынке купим!» Работодатели не спешат почитать их за беззаветное служение и не собираются заботиться о них во веки вечные, а продолжают наваливать на них все больше и больше и при этом могут уволить в любой момент просто потому, что пришло время кадровых перестановок, наступил пенсионный возраст и пора «дать дорогу молодым».

Мазохисту, увы, трудно поверить в то, что от него никто не ждет посвящения всего себя (а если и ждет, то не имеет на это никакого права). Ждали лишь его родители, которые и сформировали у него устойчивое и трудно меняемое представление: мир ждет от него такого рода служения.

Таким образом, опыт внешних лишений, полученный в детстве, оборачивается крепко встроенным и прекрасно налаженным механизмом самолишения – отрешения от собственных желаний и потребностей. Не замечать усталости, боли, жары, холода, голода, своих сильных чувств, дискомфорта, «махнуть на себя рукой» для мазохиста намного естественнее, чем проявить хотя бы минимальную заботу о себе. Садистическая позиция из внешней превращается во внутреннюю. Самолишение и самонаказание становятся нормой, а способность выносить страдания и лишения – главной гордостью, способом получить любовь, выиграть, стать морально выше других.

И поскольку лишения и страдания становятся важной ценностью, мазохист уверен, что и все вокруг тоже должны жить в соответствии с этой ценностью. И только те, кто так же терпит или страдает, будут им признаны. Ко всем же остальным, «имеющим наглость» заботиться о своих потребностях и интересах, мазохист будет относиться неприязненно или агрессивно, не проявляя, впрочем, этих чувств явно, поскольку в детстве его агрессия была подавлена и теперь имеет особенные формы, о чем следующий пункт.

2. Манипулятивные и пассивно-агрессивные формы проявления злости

Типичный мазохист часто выглядит милейшим или тишайшим человеком. Он не злится напрямую, не просит, не требует, открыто не возмущается и не предъявляет претензий. А потому вы чаще всего и знать не будете, что не так: от чего он страдает, чем обижен, чего ему не хватает. Если вы ему чем-то доставляете дискомфорт, он не скажет вам об этом. Он будет терпеть. Вы же должны были «догадаться», а раз не догадались, то это нехорошо с вашей стороны. Вы думаете, что он мог бы хоть что-то сделать с тем, что ему плохо, и ошибаетесь. Он просто «выше» этих мелочей и потерпит. А вам пусть будет стыдно за то, что не догадались.

Накопившийся дискомфорт отстает у мазохиста внутри, не находит выхода и все равно превращается в агрессию. Но в детстве ответная агрессия была либо строжайше запрещена («Как, ты еще и кричишь на мать?!»), либо опасна – садистически настроенный отец мог видеть в агрессии акт непослушания и нападал на ребенка до полного истребления любой реакции, кроме покорности. К тому же прямая агрессия мешает выполнению замысла – стать «выше» своих мучителей. Ужас и мучения, которые доставляли ему «внешние» садисты, мешают ему легализовать садиста в себе – слишком страшно. Поэтому «мучитель» прячется и мимикрирует.

В результате *агрессия из прямых форм переходит в непрямые*, манипулятивные, по сути своей садистические. И в их разнообразии мазохисту нет равных.

Поскольку он всего себя посвящает служению другим людям (например, своим детям), то ждет и ответного служения. По сути, он ждет того, что чужая жизнь пойдет в уплату за его жизнь, когда-то на других людей «потраченную». И не обнаруживая признаков такого служения или считая их недостаточными, он обижается, страдает, явно или неявно обвиняя в своих страданиях окружающих. *Поле бесконечной и часто трудно формулируемой вины* – вот в чем вынуждены жить его близкие. Особенно за то и в те моменты, когда они выбирают себя, свои потребности, а не служение.

Обида – один из самых «любимых» и часто используемых способов мазохиста проявлять собственную агрессию. Обиженный мазохист будет мучить всех своим страдающим видом, причем узнать, что же произошло, как и чем его обидели, что можно сделать для того, чтобы ему стало легче, часто не представляется возможным. Обвинение предъявляется неявно и «разруливаю» не подлежит, ибо цель другая: не решить вопрос, устранив недоразумения, а помучить других, наказать их за невнимание и нежелание или невозможность понимать мазохиста «без слов».

Делать всех вокруг виноватыми за то, что они просто живые и чего-то хотят или, наоборот, активно не хотят, – это пассивно-агрессивный ответ, часто даже не на то, что происходит в семье или окружении мазохиста сейчас, а на его несчастное прошлое. За неосознаваемую, когда-то врученную ему родителями точно такую же вину за само его существование, за его желания и проявления жизни.

Поскольку, как мы уже отмечали, мазохист «выдрессирован» на то, чтобы понимать, предугадывать и исполнять желания других, он подсознательно ждет от других людей того же. Живя когда-то рядом с садистическим родителем, он научился профилактике: волей-неволей активно развивал в себе способность предугадывать чужие чувства, желания, настроения. И сейчас он абсолютно убежден в том, что умение угадывать его чувства и желания – это доказательство любви и хорошего отношения к нему его близких.

«Я что, еще просить должен?» – часто возмущается мазохист, уверенный в том, что прямая просьба – неслыханная наглость, за которую накажут или отвергнут. Ведь прямая просьба – это заявление о существующем желании, что для мазохиста всегда опасно. Поэтому, *когда кто-то догадывается и дает мазохисту то, что ему нужно, тот пребывает в спасительной иллюзии, что он сам ни о чем и не просил*, – иллюзии отсутствия собственных желаний и потребностей.

Но если другие люди имеют наглость чего-то хотеть и открыто об этом заявляют, то это рождает в мазохисте целую бурю чувств: зависть, злость, желание ни в коем случае не дать, осудить, наказать. Сделать по отношению к ним все то же, что когда-то делали с ним самим.

Если вы недостаточно отказываетесь от своей жизни ради вашего близкого-мазохиста, если вы имеете наглость хотеть чего-то, чего он не хочет, то вас накажут. Вас вряд ли «поставят в угол» или ударят, не накричат, не разозлятся – все это было бы слишком явно и слишком похоже на то, в чем рос сам мазохист. Ему страшно уподобляться своим бывшим мучителям. Он накажет вас так, что вы не сразу поймете, что происходит, но неприятных ощущений, боли и страданий при этом у вас будет вдоволь.

Способы пассивного наказания разнообразны: с вами перестанут разговаривать, станут холодны, рядом с вами будут неделями жить с видом незаслуженного страдания, вас покинут, лишат чего-то важного для вас (тепла,

контакта, внимания, участия), вам всем видом будут демонстрировать, что в ухудшении их настроения или здоровья виноваты именно вы. Мазохист бессознательно пытается вовлечь в страдания и лишения других, и наказывать другого за свои мучения кажется ему вполне справедливым.

Если у вас испортилось настроение, вы потеряли покой, стыдитесь, виновато заглядываете в его глаза, пытаетесь догадаться, как же теперь угодить ему, то у него создается ощущение, что справедливость хоть каким-то образом восстановлена, наказание исполнено и можно жить дальше.

Поскольку мазохисты «любят» мучить и свое тело, то на определенном этапе жизни они нередко зарабатывают заболевания, приносящие им максимальные страдания и приводящие к беспомощности, вовлекают близких в свои болезни, так что у тех появляется необходимость служить мазохисту, отказавшись от собственных жизненных планов.

Таким непрямым способом мазохист получает то, о чем мечтал, «в одном флаконе»: посвящение, служение и наказание другого. Если родители еще живы, то они, безусловно, будут страдать из-за болезни или ранней смерти их выросшего уже ребенка-мазохиста. Если их уже нет в живых, за все «ответят» дети мазохиста.

Мазохист никогда напрямую не скажет: «Мне нужна помощь». И не спросит: «Могу ли я чем-то помочь?» Он сделает все сам, хотя часто его участие и не требовалось или даже отчаянно мешало. Он не скажет: «Мне так неудобно, будь добр, не делай так», или «Я не могу, мне это слишком тяжело, не по силам», или «Я могу только это, а это делайте сами». Он сделает все, даже то, о чем никто не просил, и обязательно скажет: «Разве вы не видите, как мне тяжело?» Или бросит «в воздух» фразы: «Еле дотащила эти тяжелые сумки!», «Конечно, разве кто-нибудь догадается помочь!», «Никому нет дела, будто мне одной это надо!».

Он лишит вас возможности решить вашу проблему самостоятельно, а потом еще будет обижен, что вы за это не воздаете ему должное. Он лишит себя возможности получить вашу помощь, даже не озвучив тот факт, что она нужна, но возложит ответственность за это на вас. Он не даст вам шансов проявить заботу и любовь о нем, а потом сам же будет обижаться за недополученное. Он лишит вас возможности видеть его довольным, благополучным, здоровым, счастливым. Рядом с ним вы не сможете ощутить себя заботливым, участливым, «хорошим».

Если у мазохиста нет возможностей обвинять или наказывать, вся та злость, которая неизбежно возникает у любого человека в течение жизни от того, что он не жил так, как хотел, что не позволял себе того, что для него по-настоящему важно, вся эта злость за недополученное заворачивается внутрь, приводя человека к саморазрушению. Способов самодеструктивного поведения множество, мазохисты «выбирают» тот, который соответствует их модели, – они будут страдать. Для этого можно «обзавестись» тяжелым, даже неизлечимым заболеванием, можно регулярно попадать в аварии и аварии, убивать себя алкоголизмом или другими зависимостями.

Крайняя форма аутоагрессии – полное саморазрушение и самонаказание – ранняя смерть. Наблюдение за тем, как близкий человек разрушает свою жизнь и здоровье, и невозможность как-то повлиять на этот процесс обычно приносят много страдания близким. Попытки подключиться к этой ситуации обычно ни к чему не приводят, разве что к укреплению сопротивления и еще более упоенному разрушению себя. Практически невозможно жить рядом с близким, который разрушает себя, и не разрушаться самому. Таким образом работает неосознанный пассивно-агрессивный ответ мазохиста на привычное представление о мире, в котором страдать должны все.

Сочетание не бесконечного – даже у мазохиста – терпения и его неспособности вносить в контакт собственные желания, говорить о том, что не нравится, конфронтировать, отстаивать свое, обсуждать, приходиться к соглашению приводят к тому, что, уставая от подавления собственного недовольства и многочисленных обид, мазохист в какой-то момент внезапно выходит из отношений. Часто без объяснений и без предоставления другой стороне возможности понять, что же случилось, что было не так, что можно скорректировать в своем поведении или отношении. Будучи когда-то покоренным и подавленным, мазохист актом своего внезапного ухода «покоряет» другого, оставляя его в неведении и без возможности что-то исправить.

Часто за этим лежит злость на несбывшееся ожидание того, что другой будет возвращать «добро» («посвящением себя»), на которое в свое время пошел мазохист («я за тебя жизнь отдам», «мне ничего не надо для себя, только живи»). Если же тот, другой, не просил посвящения и потому не может его обнаружить и оценить или по собственной «лпупости» принял это посвящение как дар, который не нужно возвращать, он будет *наказан за непонимание и невнимание внезапным выходом мазохиста из отношений.*

Иногда это может быть даже уход из жизни. Когда молодая мать посвящает всю себя детям, полностью исчерпывая свой ресурс сил и здоровья к тридцати годам, она оставляет их сиротами, не выполнив до конца свой материнский долг. Детям, выросшим в окружении такой услужливой и жертвенной матери, ее внезапный уход

пережить очень тяжело. Они встречаются с миром, который не жаждет им служить и не рвется посвящать себя им.

Уйти из жизни может и отец, для которого сложен контакт с собственной семьей. Говорить о собственных желаниях он не умеет. Его научили только работать, чем он с упоением и занимается, выкладываясь без усталости, иногда спасая всех окружающих (мама ему говорила, что надо быть добрым и всегда помогать людям). Ранний инфаркт вырывает его из семьи и жизни, он оставляет молодую вдову и детей. Обогревая вселенную, он лишил тепла свой дом, свою семью, обездолил собственных детей.

Эта, в сущности, безответственная и нездоровая позиция – посвятить себя другому, отдав при этом свою жизнь, – увы, воспета в песнях, в литературе и т. п. Если вы еще думаете, стоит ли вам поступать подобным образом, просто знайте, что нет в этом никакого великого подвига, это всего лишь часть ваших нарушений, ваша мазохистическая часть. Это вовсе не повод для гордости, скорее повод пойти к психологу, пока еще не поздно.

Все это (уверена, что у вас много и своих не менее живописных примеров) не прямые, манипулятивные формы агрессии, разрушающие ваш контакт, рождающие ответную агрессию или вину. Ибо что можно ответить на фразу: «Пашешь на вас, пашешь, спина уже отваливается!»? Все уже случилось, спина уже «отваливается», остается только испытывать вину за то, что на тебя «пахали», хотя ты и не просил.

Неявное, вытесненное желание мазохиста – получить что-то для себя, вот только делает он это непрямым способом. А прямым было в детстве бесполезно, осуждаемо, небезопасно. Но ведь по-прежнему хочется, а признаться в этом нет никакой возможности. Остается пассивно-агрессивно обвинять мир в своих страданиях, наказывать его за непонимание и неслужение, лишать себя и окружающих самого важного и разрушать свою собственную жизнь и жизнь близких в бесплодной попытке устранить давнюю несправедливость.

3. Провокация чужой агрессии

Мазохистка (а чаще всего это именно женщина), будучи воспитана садистическим родителем, даже вырастая, бессознательно (или осознанно) стремится к тому, чтобы воссоздать подобную модель в любых близких отношениях. Поэтому она либо выбирает мужчин, склонных к проявлениям садизма, либо возбуждает в мужчине, с которым живет, садистическую часть. Ее жертвенная позиция провоцирует агрессию у рядом живущих, потому что:

– *Она не проявляет свою агрессию прямо*, скорее вбрасывает ее в поле семьи в виде недовольства, молчаливых обид, висящего напряжения, игнорирования, тихого страдания с укором. Уставая от этого поля агрессии, кто-то в семье взрывается гневом и обрушивается на мазохистку всю силу своей ярости. Сделавшийся неожиданно для самого себя садистом близкий человек в этот момент испытывает сильную вину за свой агрессивный выпад, а мазохист вместе с болью – чувство морального превосходства.

Ситуация в семье резко поляризуется: она – «хорошая», он – «плохой». Причем внешнее окружение, дети, друзья, родственники с упоением поддерживают эту кажущуюся такой справедливой поляризацию. Пережив раскаяние, заплатив «по счетам» за свой агрессивный выпад, «садист» начинает злиться на мазохистку еще и за то, что этой поляризацией, усилением его «плохого» образа она дает ему повод зайти на следующий круг агрессии и вины и лишает шанса стать «хорошим», а значит, любимым и признанным важными для него людьми – его близким окружением. Она становится неявной садисткой, неявным его мучителем, раз за разом помогая ему быть «плохим», втайне радуясь этому, потому что его «плохость» прекрасно оттеняет ее собственную несчастность и «хорошесть».

– *Она не принимает помощь и заботу*. Ей запрещены удовольствия. Ее подсознательная идея – лишения и страдания. Теплые чувства окружающих, проявления заботы отвергаются. Ведь это она должна быть заботливой и хорошей для других. Это ее привилегия. Отвержение заботы и стремление таким образом победить в конкуренции на «хорошесть» рождает злость у тех, кто тоже хочет быть хорошим и заботиться о ближнем.

– *Она всегда якобы лучше знает, что хорошо другим*. Будучи не в контакте с желаниями собственными, она считает себя специалистом по желаниям других людей (ей кажется, что она все про них знает, а на самом деле она просто хочет, чтобы кто-то угадывал ее заветные желания). Ее забота и служение часто навязчивы и смахивают на насилие «любовью». И это тоже может рождать агрессию в ее окружении.

– Ей важно воспроизводить свою детскую модель страдания и лишения, и потому предложения как-то «решить вопрос», облегчить жизнь, изменить хоть что-то наталкиваются на ее «да, но...» – у нее всегда найдутся аргументы в пользу того, что продолжать страдать совершенно необходимо, ибо другого пути нет. *Невозможность рядом с ней войти в поле благополучия, радости, благоденствия, легкости* также вызывает бессилие и злость окружения.

– *Она не умеет говорить «нет», «стоп», «со мной так нельзя»* и потому разрешает живущим рядом с ней бесконечно «ходить по ее территории», нарушать ее границы, попирает ее человеческое достоинство, использовать ее желание служить, не замечать ее человеческой ценности, от которой она, впрочем, сама так рьяно отказывается. Ее самоуниженность и самолишения приводят к тому, что в лучшем случае ее перестают замечать, в худшем – начинают унижать и использовать. Но за все происходящее она как бы не несет ответственности. Отвечают и виноваты «злые люди», которые так ужасно поступают с ней.

Первоначальное нормальное детское желание спастись от садистического родителя путем подавления собственной агрессии перерастает в идею морального превосходства того, кто сдержался, не предьявлял явных претензий, не имел явных желаний перед теми, кто их имеет, кто позволяет себе вступать в конфронтации и конфликты. Беда в том, что мазохист не говорит: «Я не умею отстаивать себя, проявлять злость, мне страшно», а живет с невысказанной, но явной претензией к миру: «Вы, злящиеся и чего-то хотящие, – недостойны считаться хорошими людьми».

4. Отказ от себя и упоенное служение другим

У мазохиста, как и у всех людей, есть свои потребности, без удовлетворения которых он просто не выживет (люди с довлеющей мазохистической составляющей, как мы знаем, и не живут долго). Но поскольку признание наличия собственных нужд и желаний в детстве вызывало бурю негативных реакций у его родителей, ему пришлось искать обходные пути для их удовлетворения. Именно поэтому мазохисту так важно получать все, что ему нужно, не возвещая об этом и не запрашивая напрямую. Важно, чтобы «сами догадались», чтобы помощь была вручена ему почти насильственно.

Но как добиться того, чтобы люди стали такими «догадливыми» и упорными? Мазохист решает, что сначала нужно полностью посвятить себя им, сделавшись для них настолько полезными, чтобы без него они не могли обойтись. Незаменимость, нужность, служение с полной отдачей – вот хоть какая-то гарантия того, что неявно, «подпольно» любовь и забота все же просочатся к нему вместе с ощущением безоговорочной «хорошести», если не «святости».

Когда-то в детстве, будучи совершенно беспомощными перед родительским давлением, унижением и насилием, они спасались мечтами о том, чтобы стать большими, сильными, хорошими (непохожими на своих родителей), либо пытались соответствовать всем родительским требованиям, служить безупречно, предупреждать их желания, даже не замечая в этом несправедливости или садизма.

В результате маленький мазохист просто «заплатывает» родительского садиста, помещает его внутрь. И теперь внутренний садист заставляет его самого терпеть лишения и страдания, много работать на других, не роптать, не замечать усталости, не жаловаться, не отдыхать и не получать удовольствие. «Проплоченный», внутренний садист, как коварные мифические sireны, начинает петь: «Старайся. Не будешь нужен другим – выкинут тебя из отношений, будут недовольны тобой – растопчут, будешь вести себя агрессивно – накажут, будешь чего-то хотеть – унижат, воспользуются, заругают».

Мазохист – не альтруист. Мазохист отчаянно нуждается в любви, заботе, признании, в том, чтобы кто-то большой и добрый все же пришел и разрешил ему жить в свое удовольствие, хотеть, иметь, радоваться.

И сколь заветной ни была бы эта мечта, она почти невоплотима, потому что даже если это случится, они не смогут воспользоваться разрешением. Ведь они уже не очень знают, как жить, не страдая. Отвыкли ощущать и знать, чего хотят. Не понимают, что может доставить им удовольствие. Не ощущают и не находят иного смысла, нежели привычное служение.

Работа по поиску и открытию себя может оказаться значительно сложнее, рискованнее, чем привычное служение чужой жизни. Они, безусловно, вправе выбирать прежний знакомый с детства способ жить, страдая. Просто важно понимать, что если они выбирают путь отказа от себя и служения другому, то нет в этом никакого подвига, ими движет не «святость», а лишь детская травматическая модель, привычка и страх перемен.

Трагедия мазохиста. Потерянные желания и воля. Нерожденная собственная жизнь. Ощущения от жизни сужены до воодушевления от степени лишения и меры служения. Разрешенное удовольствие – мера вынесенного страдания. Бесконечные переживания разбивающихся вдребезги иллюзий о великой награде за мучения, о воздаянии за служение.

Краткая радость мазохиста. Умение выжить на пределе возможностей. Способность еще от чего-то отказаться в чью-то пользу. Приятная убежденность в собственной «хорошести». Отчитанный или застыженный кем-то другим агрессор. Краткие минуты покоя перед сном, когда, «не чувствуя под собою ног», но с ощущением выполненного долга мазохист позволяет себе расслабиться и помечтать о том, что когда-нибудь непременно отдохнет.

Основные иллюзии мазохиста. Терпеть – это очень правильно и всегда здорово, страдания возвышают. Собственная лишенность делает нас ценнее в чьих-то глазах, и это непременно кто-то оценит. Мазохист считает, что он не агрессивен и никому зла не желает, хотя его манипулятивная злость калечит сильнее, чем явно предъявленная. Он полагает, что раз он служит другим, а не себе, то он хороший и нужный и его никогда не покинут. Что тот, ради которого он кладет свою жизнь на плаху, будет от этого счастлив. Что он – добрый и праведный человек, образец для подражания, потому что ничего не требует для себя и никогда не злится. Что если сейчас он живет в нужде и лишениях, то потом он каким-то волшебным образом станет богатым. Что однажды кто-то все же придет и воздаст по заслугам и свершится великая справедливость, как в русских сказках: злых или жадных героев настигнет возмездие, а щедрые или неимушие будут вознаграждены.

Иллюзии в мазохисте умирают последними. Они гораздо более живучи, чем сами мазохисты, чье тело часто

быстро разрушается от незамеченности, истощающего использования и саморазрушающего отношения. В мифах и сказках иллюзии о воздаянии за страдания живут века. Ведь когда-то они, возможно, и были выдуманы для того, чтобы хоть как-то поддержать тех, кто вынужден был терпеть лишения.

Часто испытываемые чувства

Страх, постоянное ощущение угрозы получения нового унижения. Мазохист часто считает, что другие стремятся его поразить или даже проявить насилие по отношению к нему. Чтобы хотя бы немного снизить угрозу внешнего насилия, мазохист переходит к насилию внутреннему. «Перебьешься, потерпишь, не важно, постарайся, еще не время отдыхать, если ты это можешь сделать – значит, не отказывай другим, а не можешь – научись или постарайся», и еще много-много всяких «должна» и «давай» – частый диалог мазохистки с самой собой.

Неспособность присвоить собственную агрессию не позволяет мазохистам защититься от насилия, и потому у них остается только одна возможность спастись от угрозы – предупредить ее, принять профилактические меры. Но, к сожалению, и это не удается, потому что потребность страдать заставляет их организовывать себе почву для страдания, да и подсознательное желание стать «выше» своих мучителей заставляет провоцировать агрессию в свой адрес.

Еще у мазохистов присутствует *страх получения удовольствия*, но он в достаточной степени вытеснен, мало осознаваем. Чаще всего он проявляется в том, что мазохист непременно наказывает себя за полученное удовольствие либо до, либо в процессе, либо после. «Жизнь – это тебе не цветочки!», «Много смеешься – плакать будешь!», «Делу – время, потехе – час», «Высоко забрался – больно падать» – фразы из их «репертуара». Родители мазохиста, как правило, реагировали на естественную детскую радость, беспечность, беззаботность агрессией, относясь к таким чувствам с большим подозрением. Возможно, потому что время, в которое жили родители, тоже лишило их этого. *Страх ожидания наказания за удовольствия* так силен, что мазохист в конце концов берет процесс под свой контроль и наказывает себя сам. В удовольствие, за которым не последует наказания, мазохист не верит. Он уверен, что расплата неминуема и контролировать ее – это шанс не столкнуться с внезапной расплатой, что всегда еще более страшно и неприятно.

Душевная и физическая боль. Она привычна и в чем-то сладостна. Впрочем, сладость боли, как правило, вытесняется, поскольку мазохисту внутренне запрещено любое удовольствие. Иногда только через ощущение этой боли мазохист ощущает, что жив, поскольку его собственные желания и импульсы похоронены, боль приносит с собой парадоксальное, но явное ощущение жизни, болеющее тело или страдающая душа заявляют таким образом о своем существовании, к тому же болезни дают возможность легально получать заботу или отдыхать.

Обида. Поскольку мазохисты во многом живут ожиданиями воздаяния или ответных реакций от других людей, то обиды – вечный их спутник. К тому же это излюбленное средство наказания окружающих, способ проявлять пассивную агрессию, вселить в окружающих чувство вины и невозможности что-то исправить. Естественная обида – это следствие несправедливости, и если о ней сказать, то справедливость можно восстановить, обиженного – утешить, и таким образом закрыть тему. Обиды же мазохиста – манипулятивное оружие, они не для того, чтобы утешиться или восстановить попорченную справедливость. Они – ради неявного, но мучительного наказания окружающих, а также для создания почвы для собственных страданий.

Гордыня или самодовольство. В этих чувствах, конечно, напрямую не признается ни один мазохист. Все они убеждены, что готовность служить другим, бесконечное терпение и самолишение делают их неважными и альтруистичными. Но в «Тени» их психики так много самодовольства от собственной «хорошести», так много убежденности в своей правоте и доброте! Их великую гордыню можно распознать пожеланию взять на себя все страдания мира и ожиданию великого воздаяния за это, а также по непримиримости и нетерпимости, с которыми они относятся к тем, кто не желает страдать и терпеть.

Такой человек вряд ли появится в вашем кабинете добровольно. Либо его приведут к вам с диагнозом «психосоматика», либо пригласят вас к нему на последних стадиях рака, а если он все же придет к вам самолично, то с твердым намерением помочь кому-то из членов своей семьи: страдающим внукам, которых неправильно воспитывают их дети, собственным детям, в жизни которых все идет не так, или иногда даже с намерением разобраться в том, как изменить жизнь практически посторонних для него людей.

Поэтому самые первые шаги психолога – донести до мазохиста мысль о том, что работать будут именно с ним, с его жизнью, и заручиться его согласием на это. Если первые соглашения достигнуты, то, включившись в работу, в контрактные отношения, мазохист проявляет чудеса дисциплинированности в своей готовности быть хорошим, служить другому и делать все, что требуется. Это создает на первых порах неплохую основу для работы, но и, к сожалению, иногда обманчивую картинку крепкого клиент-терапевтического альянса.

Через какое-то время, начиная замечать небольшие признаки уменьшения страдания и улучшения собственной жизни, мазохист впадает в мало осознаваемое сопротивление и начинает страдать активнее, поскольку активизируется бессознательный, пока еще теневой, страх наказаний за удовольствие и хорошую, благополучную жизнь.

Сопротивление мазохиста может проявляться примерно в следующем:

– *Нет денег на терапию.* Поскольку благодаря психологическим защита мазохист считает благом лишения, то жить в дефиците – его принцип, его безопасность, его норма. Это касается и денег, которых у него всегда нет, а если они и появляются, то тратятся будут, безусловно, не на себя. И тогда, особенно при падающей мотивации и нарастающем сопротивлении, денег на терапию «обоснованно не будет», и ваш клиент начнет ходить к вам через раз или попросит ощутимую скидку. При этом деньги найдутся для всех нуждающихся (например, пьющих родственников и других инфантильно-просящих персонажей). Но не для того, чтобы разобраться со своей жизнью. Для мазохиста, увы, привычно быть добрым за чужой счет: он будет альтруистично «добрым» для кого-то, а расплачиваться за это будете вы или тот, чьи интересы он незаметно для себя попирает. Ибо у вас же есть деньги, а другим, неимущим, – нужно. То, что при этом он будет нарушать ваши финансовые или контрактные договоренности, ему не важно. Ему будет даже трудно понять вас, если вы будете требовать оплатить, например, пропущенную им встречу. Он же помогал нуждающимся! Как вы можете быть таким меркантильным и эгоистичным? На вас он будет проецировать себя, всегда готового лишиться чего-либо ради нужд кого-то другого. И если вы откажетесь терпеть лишения, то это может послужить поводом к его пассивной злости и в итоге – к разрыву отношений.

– *Нет времени на терапию.* Потому что нужно сидеть с заболевшей бабушкой, ходить с детьми на кружки, нянчить, ухаживать, вкладываться... в чужие жизни, но не в свою. Сильные вина и страх сопровождают мазохиста, если он начинает понимать, что у него тоже есть чувства, желания и потребности. Внезапное осознание того, что он преследует свои цели, выполняет свои задачи и хочет чего-то лично для себя, а не для других, рождает у него страх, гнев и сильнейшее желание все это немедленно прекратить и вернуться к прежнему служению.

Не справляясь с повышающимся напряжением, с обострением внутреннего конфликта между нарождающимися, уже явными желаниями и строгим запретом на то, чтобы их иметь, с возрастающей тревогой и злостью по этому поводу, мазохист «устраивает» *подсознательную провокацию*: нападение очередного агрессора, аварию, проблему, катастрофу, болезнь, и получает-таки законное и привычное право пострадать. А заодно и передышку, а то и повод прекратить терапию на основании необходимости разгрести последствия всего случившегося, «оставаясь хорошим» для своего терапевта.

В контрпереносе при работе с таким клиентом психолог, в зависимости от этапа и специфики неосознанной провокации мазохиста, может ощущать себя великим спасателем мазохиста и всей его семьи от бесчисленных бед, тираном-агрессором, виноватым в его страданиях, эгоистичным и жадным, непонимающим и недобрым, не желающим понимать и разделять его страдания, входить в его положение, тем, кому надо обязательно плотно включиться в спасение его домочадцев или всех страдающих вообще. *Поэтому психотерапевту, работающему с мазохистом, желательно:*

– проработать собственную мазохистическую часть, чтобы понимать и чувствовать психологические защиты изнутри;

– проработать в себе, научиться замечать и прерывать манипулятивную игру «жертва – спасатель – тиран», ибо мазохист обладает невероятной способностью втягивать в нее окружающих;

– иметь крепкие границы и уверенность в своем праве заботиться о себе, своих интересах без чувства вины;

– уметь видеть, замечать и вносить в работу те неявные способы проявления агрессии, которыми так виртуозно владеет мазохист;

– уметь конфронтировать с иллюзиями мазохиста, давая ему при этом достаточную опору и поддержку, оставаясь с ним в отношениях; находить в нем здоровые части и, опираясь на них, укреплять его стремление стать благополучным, а не болеть и страдать.

Цели терапии: развернуть мазохиста к самому себе и своей жизни, снизив, насколько возможно, самодеструктивные тенденции и степень внешнего и внутреннего насилия.

Задачи терапии:

– сочувствие и принятие мазохиста, такого, какой он есть, с его способами детской адаптации к жизни (важно легализовать и принять тот способ, который он был вынужден использовать с раннего детства, чтобы выжить в своей системе);

– помощь в осознании цены, которую теперь он вынужден платить за те модели, которые когда-то его защищали;

– конфронтация с иллюзиями о вознаграждении за страдания или о высокоморальности и святости его способа взаимоотношений с собой и миром;

– постепенный разворот к его собственным желаниям, потребностям и нуждам, их легализация, проработка вины и страхов, сопровождающих этот разворот;

– обнаружение и проработка манипулятивных, непрямых форм проявления агрессии, обучение прямым формам контакта и выражения чувств и поддержка в их проявлении;

– обнаружение и демонстрация повторяемости любых форм насильственного поведения, в частности насилия по отношению к себе;

– создание организованного бытия, клиент-терапевтических отношений, сфокусированных на обоюдной ценности и правах, которыми мы обладаем как личности;

– поддержка идеи необходимости защиты собственных границ и персональной ответственности перед самим собой и близкими за собственные безопасность, благополучие, здоровье и полноценную жизнь.

Главный инструмент терапии – собственная уважительная и гуманная, не мазохистическая позиция терапевта. Внимательность к собственным контрпереносным чувствам. Клиент-терапевтические отношения, построенные на уважении, признании ценности собственной личности. Осознанность, способность не поддаваться на манипуляции, а конструктивно и терапевтично показывать их клиенту, обучая его прямым способам взаимодействия и контакта. Опора на собственные права, ценность, благополучие и подлинный гуманизм, в котором забота о другом не сопровождается чьим-то страданием.

Возможные сложности в работе с мазохистом

Поскольку, в силу готовности служить другому, альянс с мазохистом может казаться терапевту достаточно крепким, то есть вероятность, что он может не замечать или пропускать проявление пассивной агрессии мазохиста, его неявное и всегда объясняемое «сложной ситуацией» сопротивление. Терапевт, находясь в контрпереносе, захваченный иллюзией крепких отношений и готовности мазохиста к изменениям, может не заметить пассивную агрессию мазохиста и пропустить момент ее превращения в уход. На самом деле нам важно понимать, что недобровольные отношения, в которых много собственного подавления (в силу пережитого опыта необходимости полного подчинения), не могут быть крепким альянсом, но могут таким казаться.

Подсознательное желание терапевта (особенно если он начинающий) не сталкиваться с прямой агрессией от своих клиентов приводит к тому, что он не замечает недовольства мазохиста, его способов ухода и сопротивления. В результате терапевт может столкнуться с неожиданным, без объяснения причин, уходом клиента. В данном случае способность прямо злиться на терапевта, возможность проявлять свое недовольство будут являться показателями сложившегося альянса и явного прогресса в терапии. Путь к этой возможности может, впрочем, занять не один год, в зависимости от наличия и активности других частей личности нашего клиента, помогающих такому проявлению (психопатической и нарциссической части) или мешающих (шизоидной, демонстративной).

Здоровые проявления мазохистической части в нас:

- мы способны заботиться о других людях в той же мере, что и о себе;
- прежде чем броситься на помощь, мы интересуемся, нужна ли эта помощь и в чем именно она может заключаться, а потом принимаем решение о том, способны ли и готовы ли сделать это;
- мы не боимся и не избегаем кризисов и страданий, считаем их естественной частью жизни, но не единственным способом жить;
- мы можем ощущать дискомфорт, лишения и боль, но будем предпринимать шаги по улучшению нашего положения;
- нам иногда приходится делать что-либо без особого желания, но мы договариваемся сами с собой, проявляя к самому себе сочувствие, а не насилие;
- мы можем оказываться в ситуациях, когда нам необходимо подчиниться чьей-то воле, но, перестав быть детьми, мы помним, что вправе выбирать тех, чьей воле подчиняться, вправе выбирать разумную и адекватную власть или предпринимать что-то, чтобы власть вела себя адекватно хотя бы по отношению лично к нам;
- наш гуманизм не односторонен, мы помним, что ценить и уважать можно только обоюдно, подлинное уважение к другому и забота о нем могут строиться только на базе признания собственной ценности и самоуважения;
- мы можем вкладываться в наших детей, других людей или какое-то важное для нас дело, но без ожиданий, что наши вложения непременно вернутся в виде воздаяния или возмещения за вложенное, и без значительного ущерба для нашей жизни и здоровья;
- попав в ситуацию, когда кто-то начинает проявлять необоснованную агрессию по отношению к нам, унижать либо подавлять нас, мы как можно быстрее замечаем признаки готовящегося нарушения наших прав, свобод или целостности и останавливаем агрессора либо обращаемся за помощью;
- нам приятно ощущать себя добрым, нужным или хорошим, но не за счет лишения себя самого или своих близких нашего бесценного здоровья, благополучия или жизни.

Уважение – альтернатива мазохистической позиции

Уважение – это то, проявления чего многие хотели бы в этой стране, но что мало кто практикует и получает. Ощущение неценности, антигуманистические принципы, свойственные нашей культуре, декларируемые, но иллюзорные права человека – все это приводит к тому, что слова, чувства и понятия, выводимые из слова «ценность», становятся эфемерными, теряют свой изначальный смысл.

«Важен», «важность» – эти слова заложены в корне слова «уважение». Проявлять уважение – значит чувствовать другого или самого себя важным. Быть важным – значит, быть замеченным в своем бытии, со своими чувствами, потребностями, желаниями, особенностями, в своей уникальности.

Отношение к народу как к неважному, а к отдельному человеку – как к функциональной единице досталось нам от крепостного права, а возможно, сформировалось и ранее. Те, кто управлял крепостным народом, помещики и дворяне, по-разному относились к своим крепостным – кто более гуманно, кто менее. В любом случае взаимоотношения между какой бы то ни было властью («родителями») и народом («детьми») строились отнюдь не на основе уважения. Впрочем, не только в нашей стране. Полагаю, в каждой стране с ее индивидуальной историей сложились свои детско-родительские отношения и отношения между народом и властью. В нашей же стране пустил свои крепкие корни садо-мазохистический механизм.

Впрочем, социальный и сословный статус всегда имел значение. Более привилегированные классы воспитывали своих детей, с одной стороны, в подчинении традициям, но с другой – в значительно большем уважении к собственным потребностям. Им с малолетства прививали правила поведения в обществе, их учили гувернеры, родовая, дворянская или офицерская честь были не просто словами. Крестьяне и рабочие были вынуждены терпеть лишения, не иметь возможности учиться, много работать, и опыт, который они передавали своим детям, – это опыт тяжелого труда с ранних лет, измождения, лишений, ограничений и страданий. Им и передавался мазохистический опыт возвышения за счет способности переносить страдания и ненависти к своим мучителям.

Дворянство имело многое (титул, собственность, владения, прислугу, средства к существованию, возможности и т. п.), крестьянство же жило в лишениях. Опыт ценить, уважать, иметь закреплялся у одних, опыт быть лишенными, страдать, ненавидеть – у других. У меня нет идеалистического представления о том, что у привилегированных слоев общества не было проблем, в том числе психологических. Безусловно, были, иначе революционные события 1917 года были бы невозможны. Но если смотреть на эти два слоя лишь с точки зрения формирования садо-мазохистического механизма, то очевидно, что для низших слоев общества он был более характерен.

Революция, перевернув все с ног на голову, смела и истребила одних и «поставила у руля» других. Мазохистический механизм стал ведущим и во власти: молодая страна проходила через череду внутренних и внешних войн, голода, лишений с типично мазохистическим посылом к своему народу: «надо потерпеть ради светлого будущего», наступление которого все время откладывалось. И народ терпел. Внутренние садистические механизмы (голод, репрессии, тюрьмы) нам хорошо известны из нашей трагической истории.

Остатки «буржуазного» желания иметь, ценить, приращивать, богатеть, думать о себе, о наследстве для своих детей – объявлялись вражескими и истреблялись. Думать о ком-то другом (о партии, народе, всемирной революции, коллективе) – поддерживались и закреплялись. Ощущение собственной неценности, приниженности, функциональности, конформизма и желание служить кому-то становились тем, что следовало иметь, чтобы выжить.

Психика перестраивалась, переходя от «можно», «имею», «хочу», «о себе» к «нельзя», «отдаю», «отказываюсь», «о ком-то». Власть, быстро перешедшая от гуманистических идей (все для народа) к управлению, замещенному на страхе перед внешней угрозой, а позднее – к циничному управлению идеологией, всегда ждала ответного уважения и подчинения. И естественно, его не находила. Советский народ, разоблачив своих тиранов, прежде идеализируемых, мирился со своими правителями, через анекдоты проявляя свое истинное отношение. Неуважение стало взаимным.

Только таковым оно и может быть. Бесплезно требовать уважения, если оно не взаимно. Если ваши дети, ученики, сотрудники проявляют к вам неуважение, проверьте себя на степень вашего гуманизма.

Итак, на мой взгляд, **уважением** можно назвать:

– обоюдные чувствительность и корректность, проявленные в отношении ваших и чужих психологических и телесных границ, включая аудиальную составляющую (громкие музыка, шум, разговоры по телефону), обонятельную (тяжелые и интенсивные запахи), осязательную (слишком близкое расстояние);

- своевременное (отсутствием чего грешат многие наши системы), но не чрезмерное (чем изобилует наша агрессивная и навязчивая реклама) информирование (что произошло, где находится, как пройти, кто за что отвечает);
- способность ценить чужое время – не опаздывать на встречи, не занимать время разговорами о себе, своих делах и бедах, не осведомляясь о том, готов ли собеседник посвящать вам свое время;
- не навязываемое общение;
- предложение, а не навязывание своей помощи, присутствия, участия, благотворительности;
- прямой контакт, исключая манипулятивное поведение, не прямое, нелегализованное желание использовать другого;
- естественная готовность взять на себя ответственность за самолично причиненное неудобство, ущерб, за ошибку;
- разрешение себе и другому иметь мнение, позицию, взгляды, убеждения и заблуждения;
- умение корректно обходиться с чужими и своими желаниями и нежеланиями, возможностями и ограничениями, чувствами и мотивами;
- способность быть понимающим и внимательным к различиям и уникальности личности другого, вне зависимости от его возраста, социального положения, статуса, этнической и национальной принадлежности, профессии, рода занятий и воззрений;
- готовность к адекватной и ясной защите собственных границ, потребностей, прав тех, кто дорог или зависит от нас;
- присвоенное обоюдное право на проявление, на собственность, успех, признание; присвоение своих достижений, достоинств и наград;
- ясное разграничение своего и чужого, следование установленным границам, договоренностям, правилам и законам;
- естественность и обоюдное право на желание комфорта, получения удовольствия, удовлетворенности, благожелательности, дружелюбия, открытости, если нет необходимости проявлять иные чувства или обстоятельства не требуют иных реакций и действий.

Послесловие

Обращение к старшему поколению

Пока я работала над этой книгой, я часто слышала: «О, книга о мазохистах, пиши быстрее, я дам прочитать ее своей маме». Я понимала, что теряюсь от этих слов, потому что книга и статья задумывались мной главным образом для профессионалов или интересующихся психологией. Но активное желание моих коллег иметь что-то доступное и понятное, что можно дать прочесть своей маме, очень понятно. Отдавая себе отчет в том, что моя возможность сказать не равна чьей-то возможности услышать, я все же решила написать эту короткую главу-обращение для людей старшего поколения. Не знаю, впрочем, захотите ли вы показать ее вашей маме.

Уважаемые старшие: мамы, папы, бабушки, дедушки; люди пожилые, в возрасте; чувствующие себя молодыми, зрелыми, пожившими; уставшие, полные сил, мудрые, опытные, находящиеся на заслуженном отдыхе или активные, ощущающие жизнь как прекрасную перспективу, в которой еще многое возможно, я обращаюсь к вам!

Ваши дети, внуки и последующие поколения благодарны вам за то, что вы есть. За то, что вы выжили в те времена, в которые выжить удавалось далеко не всем. Сам факт вашего выживания говорит о наличии в вас практически неиссякаемого источника сил, мужества, мудрости, способности приспособиться к сложным, иногда почти невозможным обстоятельствам. За всю свою жизнь вы получили важный опыт и приобрели навык: выживать. Именно благодаря ему у многих из нас была возможность появиться на свет.

Но кроме опыта и навыка «выживать» есть еще не менее важный опыт и навык «жить». Слова однокоренные, а разница существенная.

Выживание – это умение существовать на минимуме ресурсов, довольствоваться малым, не хотеть большего.

Это необходимость вкладываться по максимуму и работать на пределе возможностей. Всегда быть в напряжении, в состоянии мобилизации, потому что в любой момент может случиться все, что угодно.

Это способность и необходимость предугадывать негативные события, трагедии и катастрофы. Умение опираться только на себя, желание все делать самому. Постоянные мысли о возможном негативном будущем в ущерб иногда вполне благополучному настоящему. Умение копить, экономить, откладывать «на черный день», лишаться и лишать, чтобы «не привыкать к хорошему», умение не взлетать, чтобы не было «больно падать». Это желание не иметь, чтобы не лишили.

Это подсознательное отношение к смерти как к избавлению, освобождению... от необходимости выживать.

Жизнь (в сравнении с выживанием) – это умение и способность вовремя определять, когда тебе что-то нужно, следить за своими ресурсами и заботиться о них. Жить – значит иметь столько, сколько требуется, времени, сил, отдыха, здоровья, денег, еды, одежды, возможностей, свободы. Потому что чем больше вы имеете, тем больше у вас возможностей и желания отдавать, вкладываться, творить, созидать, участвовать, получать удовлетворение от того, что делаете, удовольствия от того, как живете.

Это умение вкладываться ровно настолько, насколько требуют обстоятельства, сообразно своим возможностям, без ущерба для здоровья и состояния. Это способность просить о помощи и оказывать помощь, когда тебя о ней попросили, взвешивая при этом свои возможности.

Это вера в то, что будущее может быть разным, и справиться с ним поможет способность к защите своих границ, вера в свои возможности, личностная устойчивость, ощущение собственной ценности, уважение к себе и миру, способность искать и находить разные способы решения проблем. Это умение распоряжаться своим и корректно относиться к чужому и умение хорошо видеть различия между этими двумя прилагательными.

Это знание своих прав и ценностей, наличие сил и желания их охранять или отстаивать. Это радость, удовольствие и жизнь, наполненная собственными смыслами.

Нам, тем, кто идет за вами, уважаемые старшие, важен не только ваш опыт выживания, но и ваш опыт жизни. Если он у вас уже есть, нам будет проще. Потому что, глядя на вас, мы ему учимся, вбираем как модель. Если у вас его нет, хотя бы не мешайте нам приобретать его. Ведь это и так непросто делать без примера перед глазами.

В вас достаточно мудрости, чтобы понимать, что нельзя научиться на чужих ошибках, но можно помочь другому сделать выводы из своих собственных, при условии, что он не может сделать этого сам. Ваше горячее желание оградить своих детей и близких от неприятностей и ошибок – понятно и естественно. Но ошибки и неприятности

– это просто часть жизни и важного опыта, который нужен каждому. Ведь вы стали мудрыми именно благодаря им – вашим собственным ошибкам.

Вашим детям нужны не столько советы, сколько ваша вера в них самих и понимание, что если вы справились с собственной жизнью, то и вашим детям это по силам. Они же – ваши дети, а значит, им доступно все то, что было доступно вам. Не надо пытаться сделать жизнь ваших детей и внуков легче, им всего лишь нужна своя жизнь, а не облегченная версия вашей.

Им будет трудно воспользоваться вашими наставлениями и назиданиями, им будет проще воспринять ваши размышления, взгляды и ненавязываемые представления о жизни. У вас, конечно, всегда есть что сказать, но если у ваших детей есть опыт услышанности и опыт понимания, то и они будут отвечать вам тем же: будут вас слушать и понимать.

Каждое новое десятилетие вносит в жизнь весьма значительные перемены, чему-то нам всегда приходится учиться у тех, кто значительно моложе нас. Но есть и то, что является и остается важным в веках. Умение являться носителями традиций и важных жизненных ценностей и впитывать в себя современные изменения – это ваша возможность не терять контакт с теми, кто младше вас, а им – не терять свою связь с вами и вообще связь с прошлым, важным, основополагающим.

Вы нужны вашим детям – полные сил, здоровья, довольные вашей жизнью. Они будут любить вас и в том случае, если вы будете болеть, страдать и умирать. Просто тогда у них будет оставаться мало сил на собственную жизнь и жизнь их детей, к тому же именно с вас они копируют модель «страдающей», полной лишений и болезней жизни и старости.

Ваш пожилой возраст, ваша зрелость и старость – такая же часть вашей жизни, как и молодость. Это ваша жизнь, и от вас зависит, как вы ее проживете. Не от ваших детей, от вас. Ваша старость – это модель старости и для ваших детей. Чем дольше и интереснее вы живете, тем больше шансов на это и у ваших детей.

Если вы страдаете или обижены чем-то, скажите об этом. У ваших детей нет задачи обижать вас, они вас очень любят. Но если они обречены все время тревожно вглядываться в ваши глаза и звонить вам по три раза на дню, они не успевают жить своей жизнью.

Скучаете, в чем-то нуждаетесь – звоните, давайте о себе знать. Но не думайте, что хороший сын или дочь – это те, кто развивает в себе телепатические способности понимать на расстоянии и без слов, что же нужно их родителям. Если ваши дети могут без вас обходиться, но рады иногда просто провести с вами время, и при этом у них есть повод радоваться тому, что у вас все хорошо, – вы все сделали правильно. Хорошие дети – это те, кто вкладывает свои силы в свою жизнь, в собственных детей и внуков и верит в то, что их собственные родители даже в старости в состоянии наполнить свою жизнь, позаботиться друг о друге, что они достаточно взрослые, чтобы просить о помощи, когда это нужно, а не ждать ежеминутных доказательств детской любви.

Та жизнь, которую вы им дали, – не долг, который они теперь вам должны вернуть. Жизнь – это подарок. То, что вы им дали, пока они были малышами, – ваш естественный родительский долг, ваша забота, которую вы добровольно когда-то взяли на себя. Ее не нужно возвращать. Ваши дети, вырастая, все, что дали им вы, будут отдавать дальше – своим детям и внукам, для того чтобы жизнь вашего рода не утасла, продолжалась.

Если, сколько бы лет вам ни исполнилось, вы способны учиться, в том числе быть родителями взрослеющих детей, а это, как вы понимаете, совсем не то же самое, что быть родителями малышей, школьников, подростков, то вам обеспечена весьма интересная жизнь и в том числе старость, полная открытий и благодарности ваших детей. Если у вас сохранится глубокий контакт с детьми, эта благодарность сможет наконец дойти до вашего сердца.